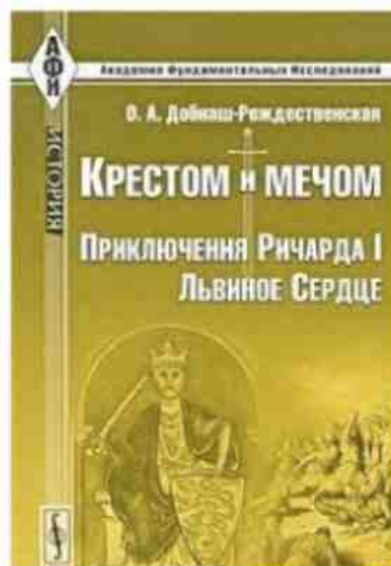


Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская Крестом и мечом. Приключения Ричарда I Львиное Сердце



«Добиаш-Рождественская О. Крестом и мечом. Приключения Ричарда I Львиное Сердце. Послесл. Б. С. Кагановича. - М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 0. - 112: ЛКИ; Москва; 2010
ISBN 978-5-382-01038-0

Аннотация

Перед читателями - книга О.А.Добиаш-Рождественской, одного из самых талантливых русских историков западного Средневековья, представляющая собой, несмотря на небольшой объем, фундаментальное историческое исследование и одновременно замечательное по "интриге", композиции и стилю произведение. Автор изумительным по яркости и богатству красок языком воссоздает зримую картину исторического прошлого, дает отменную психологическую характеристику Ричарда Львиное Сердце ("драматическая фигура блестящего авантюриста и бесстрашного скитальца по суше и морям, жизнь, полная головокружительных успехов и роковых неудач").

Книга будет интересна как историкам-медиевистам, так и широкому кругу читателей, увлекающихся историей.

ПРЕДИСЛОВИЕ

*Посвящаю дорогому моему учителю
Ивану Михайловичу Тревсу
в 40-летие его деятельности*

Приключения Ричарда Львиное Сердце должны возбудить в современном читателе интерес, быть может еще более живой, чем тот, какой к ним притягивал людей его поколения. Драматическая фигура блестящего авантюриста и бесстрашного скитальца по суше и морям, жизнь, полная головокружительных успехов и роковых неудач, волновавшая воображения Востока и Запада, для нас — вне своих живописных эффектов — имеет более сложный смысл. Он определяется как раз тем, что смущало его современников, было им особенно непонятно и

сказалось лишь в их случайно оброненных фразах и недомолвках. Выросший органически из своей среды, необычайно ярко ее отразивший, Ричард вместе с тем почти свободен от власти традиции. В его системе как правителя, в его тактике как стратега, в его методах как моряка, в его мирозерцании как «крестоносца» было очень мало такого, что, не искажаясь, вмещалось в стереотипные формулы его эпохи. В частности, в этом последнем вопросе очень трудно установить, был ли сколько-нибудь «церковно настроенным» человеком этот насмешливый король, чьи мефистофельские шутки подчас веселили, а чаще пугали его анналистов и поэтов. Вся его западная и восточная эпопея имеет, несомненно, какой-то иной смысл, чем утоление тоски по Иерусалиму, хотя в современном ему изображении она отчасти отлилась в эти краски. И если мало кто в такой мере нес в себе наследство прошлого, то мало кто пробудил и сконцентрировал

5

с такой силой эмоции, пробивал пути, ведущие в новый мир, как неутомимый король Ричард. В этом смысле он (кого в титуле первой из наших глав мы назвали «викингом во французской культуре») не может остаться безразличным для истории, но которой он прошел как сила одновременно разрушительная и движущая.

6

I. ВИКИНГ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУРЕ

«За полгода до гибели Анри II, в пятницу перед Рождеством, в час ночного безмолвия, приблизительно около времени первого сна, возшла в Англии комета, обычно предвещающая смерть или рождение государей. Она восходила ниже не только звезд, но и планет и в этом туманном воздухе мнилась чем-то вроде огненного шара. Она неслась через небеса со странным шумом, как бы длительным громом, оставляя за собою непрерывной полосой тянувшееся сияние».

**1. За полгода до гибели Анри II - Именуя так Генриха II Плантагенета (1133—1189), О.А. Добиаш-Рождественская хочет подчеркнуть его принадлежность к французской культуре. — Примеч. автора послесловия (далее: Б. К.). **

Эта удивительная комета должна была явиться знаменем смерти старого короля. Она же возвещала вступление старшего из оставшихся в живых его сыновей — герцога Ричарда. Многократно преданный отцом и предавший его незадолго до смерти, «принц с львиным сердцем» должен был в 1189 году продолжить на английском королевском и ряде французских герцогских и графских престолов ту злополучную династию, над которой висело пророчество Мерлина:

«В ней брат будет предавать брата, а сын — отца».

Читатель, пробегающий приведенные в начале этого очерка строки из трактата Геральда Камбрезийского «О воспитании государя», не может отделаться от мысли, что прямо и непосредственно к Ричарду относится образ кометы, оставившей зловеще яркий след в туманном небе средневековой Англии.

А также всех впечатлительных воображений Европы и Передней Азии. Если в течение его жизни суда короли Ричарда пенили волны Атлантического океана и Средиземного моря, если в самой несходной обстановке и в

7

самых различных климатах и местах моря и суши он действовал, восвал, грабил, кошунствовал, пировал, ругался (его ругательствам Геральд посвящает целый параграф, с неодобрением сравнивая его манеру с исполненным благочестия и приличия поведением французских принцев), молился, пировал и пел, то эта пестрая правда его жизни нашла отражение в самой разнообразной поэзии его времени. Его воспели труверы Северной Франции, как и трубадуры Южной. Вокруг его страшной фигуры слагались арабские сказки и

пророчества итальянских визионеров. Хроникеры греческой и латинской Европы, как и армянской Азии, запечатлели на разных языках ужас перед его яростной энергией, его демонической силой, восхищение перед его великодушными подвигами, жалость к его трагической судьбе.

«Умер король Ричард, — пишет в 1199 году трубадур Госельм Феде. — Тысяча лет прошла без того, чтобы умирал человек, чья утрата была бы такой безмерной. Не было мужа столь прямого, доблестного, великодушного. Сказать правду, во всем мире одни его боялись, другие любили».

Современные ему биографы поняли и живописали упрощенно-ярко явившуюся в Ричарде разновидность «образа человечества». В этих изображениях удивляет не только большая разница оценок, но и их прямая полярность. Одни представляли его здоровым, другие — больным; одни — красавцем, другие — бледным дегенератом; одни — жадным, другие — великодушным и щедрым; одни — коварным предателем, другие — верным и прямым; одни — божьим паладином, другие — исчадием дьявола. Когда мы оцениваем его под нашим теперешним углом, у нас — с одной точки зрения — также многое двоятся. Что это за фигура как сила истории? Какова роль представляемой ею стихии в реке времен? Строил ли он будущее или лежал камнем (ввиду его подвижной природы лучше сказать: метался враждебным вихрем) на его пути? Закон рождения сделал его «королем», официальным вождем сильных и деятельных групп по обе стороны Ла-Манша. В их организации или разложении, в социальных исканиях и утратах играл ли он приметную роль и какую именно?

Смысл большинства оценок Ричарда, разбросанных в новой историографии, если свести их к краткому и резкому выражению *2. *Ни Грин, ни Стеббс, ни Рамсе, ни Куглер, ни Брейс, ни Картелиери (историки конца XIX — начала XX в., писавшие о третьем крестовом походе и Плантагенетах. — Б. К.) не дали приводимой ниже характеристики в такой форме. Но их отдельных из замечаний и общего тона можно заключить, что они бы от нее не отказались.* *, таков, что даже для своего нетребователь-

8

ного времени он был никуда не годным государем. Он никогда не сидел дома, но вечно носился по суше и морям, он ограбил Лондон, разорил Англию для своих крестоносных предприятий, запутал управление, растратил невероятное количество денег, запасов и живых человеческих сил, в свой замечательный век, уже начинавший жить интенсивную жизнь организованного, мирного труда, он развил и поощрял войну авантюристов. При нем процвели Лувары, Меркадье и тому подобные бичи трудового населения, которое на его собственных территориях не знало от них покоя. Он был правитель жестокий и суровый, за малейшую провинность готовый топить и вешать своих матросов и солдат. Он ничего не понял в могучем социальном и хозяйственном движении, которое совершалось в деревнях и городах его страны, не уразумев даже того, что поняли и — в интересах монархии — поддержали его отец, Анри Плантагенет, и его современник, Филипп-Август, король Парижский. Он был бретер, задира, честолюбец. Он даже не был, собственно, идеалистом крестоносного дела, в котором в конце концов видел авантюру, выгодную для обогащения, в лучшем случае для славы, повод упражнения воинственной энергии — в гораздо большей мере, нежели «подвиг божий» и тем менее — «путь покаяния».

За Ричардом никто не отрицает талантливости, своеобразного (преимущественно саркастического) остроумия, личной энергии и мужества, гения быстрой организации. Но полное непонимание глубоких основ всех тех исторических движений, около которых он стоял, не только в Европе, но и в Азии, крайне узкое и чисто личное отношение к событиям и людям, легкомысленная импульсивность природы, недостаточная серьезность в переживании подлинной трагедии Святой земли и дела в ней латинского рыцарства сделали то, что он оказался, может быть, самым вредным человеком в третьем крестовом походе, деятелем, который разрушал левою рукою то, что строил правою, и, не мирясь ни с чьей инициативой рядом со своею собственною, подрывая возможность всякого сотрудничества, разогнал

союзников и скомпрометировал дело Святой земли. За окончательную утрату Иерусалима, несмотря на ряд совершенных им подвигов, ответственна его собственная плохая политика.

9

Он уже для своего времени «человек прошлого», носитель самого дурного его наследства, всего, что было насильнического, личного и самоуверенно-жестокого, что было при всей его эффектности отталкивающего и при всей его подвижности мертвого в воинственном феодализме.

На общем фоне XII века, полного новых социальных и духовных возможностей, он рисуется воплощением всего, что должно было пойти в нем на слом. Даже в среде современных ему государей, таких, как Филипп II, Фридрих I, Генрих VI, и прежде всего наряду со своим отцом, которые все были чуткими и трезвыми политиками, угадавшими и содействовавшими выявлению новой, более совершенной государственности, этот рыцарь-бродяга, король-авантюрист, коронованный трубадур представляется явлением запоздавшим, задержавшимся искусственно в новом мире. Чем раньше этот мир отделился от причудливого и беспокойного государя, тем лучше для него, и Ричард мог бы нас интересовать только как любопытный пережиток известного, преимущественно отрицательного типа социальной культуры *3. См. примеч. 2. **Ни Грин, ни Стеббс, ни Рамсе, ни Куглер, ни Брейс, ни Картелиери (историки конца XIX — начала XX в., писавшие о третьем крестовом походе и Плантагенетах. — Б. К.) не дали приводимой ниже характеристики в такой форме. Но их отдельных из замечаний и общего тона можно заключить, что они бы от нее не отказались.**

Зачем крутится вихрь в овраге,
Колеблет прах и пыль несет,
Когда корабль в бездонной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, угрюм и страшен,
На пень гнилой? Спроси его...

Приговор исторической смерти для Ричарда не может удовлетворить романтика, дорожащего в его образе ярким воплощением безграничной личной свободы и того, что он назвал бы «игрою жизни» — *Spiel des Lebens*. Он не удовлетворяет — в отношении к самому деятельному принцу своего времени — и тех «энергетиков», для кого в начале Вселенной стоит «деяние» (*in Anfang war die Tat* *4. «В начале было дело» («Фауст»). *) и воля является осью космоса и истории. Он не удовлетворяет эстета, оценивающего образы истории не под углом зрения этическим или корыстным (принесенной пользы или причиненного ущерба), но с точки зрения полноты, внутренней согласованности имманентных им

10

сил. Наконец, определение явления как запоздавшего или отжившего отменяется для тех, кто берет его в его вневременном аспекте, исключаящем категорию прогресса.

При всех этих точках зрения могут открыться несколько новые перспективы на личность Ричарда. Обнаруживая в нем какую-то не до конца учтенную вышеприведенными формулами ценность, они побуждают внимательнее и более изнутри всмотреться в того, кого

«во всем мире одни боялись, другие любили».

Быть может, беспристрастнее и шире оценив те ферменты брожения, которыми он возмутил окружающую его стихию, мы придем к несколько менее суровому выводу о самом месте его в волнующемся мире истории.

Среди расходящихся в самых неожиданных направлениях изображений его личности и судьбы одно из самых характерных — изображение Геральда Камбрэзийского. Он подчеркивает в этой личности и судьбе какую-то обреченность. Подобно иным ученым хроникерам своего времени, он охотно сравнивает Ричарда с Александром и Ахиллом, потому

что, подобно им, ему суждена была ранняя слава и ранняя смерть. Но обреченность Ричарда для Геральда глубже этого совпадения. Она кроется во

«вдвойне проклятой крови, от которой он принял свой корень».

В трактате «О воспитании государя» мрачная семья Плантагенетов служит в этом смысле темным фоном светлой династии Капетингов. Все предсказания, видения, голоса, которые Геральд набирает и высыпает десятками перед читателем, ведут к одному определенному впечатлению. Для его усиления Геральд, знающий своего читателя, не жалеет красок. От Мерлина до Бернарда Клервоского и от

«знатного мужа» до «некоей доброй женщины»

самые разнообразные вещатели появляются в его трактате, чтобы предсказать судьбу коварного старого короля и его преступных, несчастных сыновей.

«От дьявола вышли и к дьяволу придут»,

— предрекает будто бы при дворе Людовика VII святой Бернард.

«Происходят от дьявола и к нему отыдут»,

— повторяет Фома Кентерберийский в видении, где он был запрошен о судьбе семьи Анри II. Угроза, понятная в устах архиепископа, который по одному намеку короля был убит «между церковью и алтарем». «Некий монах», размышлявший о будущем Плантагенетов, увидел старого селезня и четырех молодых, погрузившихся в воду и в ней утонувших перед налетевшим соколом.

11

«Сокол — король Франции». Сам Анри в предчувствии грядущего велел будто бы изобразить на пустом месте стены Винчестерского дворца орла и четырех орлят, из которых два бьют отца крыльями, третий — когтями и клювом, а четвертый, повиснув на его шее, пытается выклевать ему глаза.

«Четыре орленка — четыре моих сына. Они до смерти не перестанут преследовать меня. Младший, кого я больше всего любил, горше всего меня оскорбит».

***5. Четыре орленка — четыре моих сына - Анри III, Ричард, Жоффруа Бретанский и Иоанн Безземельный. ***

Сам Ричард неоднократно рассказывал историю о своей отдаленной бабке — ее применяли и к матери его Элеоноре Аквитанской, графине Анжуйской,

«удивительной красоты, но неведомой (очевидно, демонской) породы».

Эта дама вызывала подозрения близких тем, что во время мессы никогда не оставалась на момент освящения даров, но уходила тотчас после Евангелия. Однажды, когда по повелению ее мужа четыре рыцаря хотели ее удержать, она, покинув двух своих сыновей, которых держала под плащом справа, улетела в окно с двумя другими, которых держала слева, и больше не возвращалась...

«Неудивительно, — замечал рассказывавший это Ричард, — что в такой семье отцы и дети, а также братья не перестают преследовать друг друга, потому что (так говорил он) мы все идем от дьявола к к дьяволу».

«Разве ты не знаешь, — спрашивал будто бы у того же Геральда принц Жоффруа, — что взаимная ненависть как бы врождена нам? В нашей семье никто не любит другого».

Большинство видений и предчувствий у Геральда относится к королю Анри и лишь косвенно затрагивает его сыновей. Вся энергия гнева и сарказма этих снов относится к автору Кларендонских постановлений и убийце Фомы Бекета.

«Но какова может быть судьба сыновей такого отца?»

Лично к Ричарду отношение Геральда исполнено осторожности и даже пиетета. Ни при каких обстоятельствах не забывает он, как в 1187 году

«ради отмщения Христовой обиды он принял знак креста, подав тем всем заальпийским народам пример великодушной смелости».

Портрет Ричарда, который он чертит в момент его смерти, сделан скорее сочувственной рукою. Но ни личные качества, ни блестящие подвиги героя не отклоняют грозных путей семейного рока.

«Как со стороны отца, так и со стороны матери, королевы Элеоноры, порочен корень их сыновей, и потому, зная их происхождение, да не удивится читатель их злополучному концу».

12

Закон наследственности, который получил зловеще образную форму в вещаниях святых Бернарда и Фомы:

«От дьявола исходят и к дьяволу придут»,

иллюстрируемый в свете соображений более трезвых, нежели соображения привидений и добрых женщин, на семье Плантагенетов XII века, могли бы обусловить более благоприятные и даже абсолютно благоприятные предсказания.

Эта семья, смешавшая много сильных и разнообразных кровей крайнего германского севера и яркого романского юга, суровую душу скандинавских скал, сложную жизнь пиренейско-атлантической страны и веселье лазурных берегов Прованса, соединившая много культурных традиций, старых и молодых, наивно-свежих и порочно-утонченных, была исключительно энергичной и талантливой семьей. Все известные нам фигуры предков короля Ричарда — выше среднего роста как морально, так и физически. Семья эта богата эффектными, выразительными в чисто средневековом смысле фигурами, не дав, впрочем, ни одного образа высшей человеческой красоты, какие знала хотя бы в Людовике IX семья Капетингов. Наблюдения египетологи имели бы любопытный материал в этой династии. Кровь норманнских пиратов, на многие десятилетия

«впитавших воздух моря и страсть к безбрежным странствиям»,

мало изменившаяся, победившая все примеси за два века господства*6. После полутора веков набегов норманнов на Северную Францию область нижней Сены, будущая Нормандия, уступлена их вождю Рольфу-Роллону в 911 году на вассальных правах. Вышедший отсюда в 1066 году для завоевания Англии Гильом был шестым потомком Роллона. * на северофранцузском берегу *7. Доныне в населении Нормандии поражают белокурый тип и северная музыка речи. *, через посредство Гильома, завоевателя Англии, его сына Гильома Рыжего, его внука Анри I*8. Имеются в виду Вильгельм Завоеватель (ок. 1027—1087),

нормандский герцог, с 1066 года король Англии, и его преемники — английские короли Вильгельм II Рыжий (1087—1100) и Генрих I (1100—1135); Генрих I был не внуком, а младшим сыном Вильгельма Завоевателя. — Б. К. * и его правнучки Матильды, «императрицы Матильды», — кровь эта влилась в жилы графов Анжу, одной из самых крупных сеньорий французского запада, когда Матильда, единственная прямая наследница норманнской династии в Англии, бывшая первым браком замужем за императором Генрихом V, затем отдала свою руку вместе с правами

13

на английский и норманнский престолы анжуйскому графу Жоффруа Плантагенету. Сын ее Анри II, осуществивший эти права, сведя, таким образом, на своей голове три короны, на языке хроник именуется «сыном императрицы». Казалось бы, уже этот король-граф являлся человеком на девять десятых французской крови, даже в своей норманнской парентеле *9. Родне. * Потому что огромные, многодетные семьи, «дома» (maisnie), «фары» норманнских баронов, из которых не была исключением герцогская семья, плодились и множились не только за счет законных жен, но и наложниц, — очевидно, в огромном большинстве женщин французской, местной породы.

Побочные дети, «батарды», — таким был и Гильом, завоеватель Англии, — не бывали обездолены в отцовском наследстве. Нормандский обычай признавал полное их равенство с законными детьми. Только их многочисленность вынуждала большинство младших, не вмещавшихся в родовой удел, искать счастья за морями. Так искал его в Англии Гильом, в Испании — Рожер Тоэни, в Италии и Византии — Гвискард, в Сирии — Боэмунд и Танкред. Сверх материнской, нормандской отец Ричарда, Анри II, имел чисто французскую, анжуйскую парентелу. Это была старая семья каролингских графов, давно осевших в светлом и мягком крае, по широкой долине, которую пробила, катясь к морю, Луара, окруженная здесь рощами дубов, полная весною аромата шиповника. Анри II был глубоким патриотом веселого Туранжу, родных своих городов: Тура и особенно Ле-Манса,

«где была его колыбель, где была могила его отца».

Об этом он вспоминал впоследствии, в трагических событиях, заставивших его, точно травленного волка, бежать по своей стране из города в город, под шум

«тяжело-звонкого скаканья»

преследовавшего его сына Ричарда. Анри, повторяем, был человеком преобладающе французской крови. Однако же не только в его грубоватом, тяжелом и красивом облике, но еще более в фигуре его второго сына, Ричарда, его могучем, статном теле, его золотисто-рыжих волосах *10. Так описал его автор так называемого «Итинерария Ричарда». Тонкое и строгое лицо с кудрявой бородкой и высоким лбом, которое глядит на нас с его статуи в Руанском соборе, навряд ли можно считать портретом. * все еще можно было узнать потомка викингов, как век назад узнавали его в норманнском князе Южной Италии Боэмунде Тарентском, когда в эпоху первого крестового

14

похода он появился в палатах Византии и поразил воображение ее принцессы своими изменчивыми, цвета моря глазами. Поэтому совершенно неточно, но психологически понятно, если один из последних историков Ричарда, Александр Картелиери, упорно называет его «норманном», der Normane, сближая его в мессинский период его странствий с другим, тоже давно романизованным «норманном» Танкредом де Лечче, князем Сицилии.

Самоутверждение могучей северной расы в случае Ричарда тем более удивительно, что ведь кроме физического и духовного наследия отца Ричард получил еще наследство матери. Ею была Элеонора Аквитанская, которая, проблистав до 1152 года в качестве супруги Людовика VII Капетинга в Париже и Сирии, народив много дочерей*11. Сыновьями этих дочерей, большею частью блестяще вышедших замуж (племянниками Ричарда), были граф Анри Шампанский и будущий император Оттон Брауншвейгский. *, нашумев своими

романтическими приключениями, была разведена с первым мужем и вышла за его анжуйско-нормандского вассала, на которого, как единственная наследница Аквитании, перенесла права на весь французский юго-запад.

Так дополнялась вокруг слабой державы парижского короля-сюзерена старшая дуга «вассальных владений» того, кто, уже будучи графом Нормандским, Бретанским и Анжуйским, а также английским королем, стал еще аквитанским герцогом. Отныне пути в океан, как и прибрежные флоты, были в его руках.

Новая страна, попавшая во владения Плантагенетов и привязавшая к ним Лангедок (она воспитала Ричарда), всегда занимала своеобразное место в судьбах Франции. В особенности та часть Аквитании, куда океан вступает глубокими заливами и которая сама склоняется к океану, связывая Луару с Гаронной, была искони большой дорогой для миграций самых разнообразных народов, с одной стороны, двигавшихся с северо-востока в Испанию, с другой — искавших из ГENUЭЗСКОГО залива кратчайший путь к «Острову океана», т. е. к Британии. В течение долгих столетий здесь смешивались народы севера и юга, и о великих гаванях западного берега, *plagae occidentalis*, рано узнали на Средиземном приморье, на Роне и Рейне. Римские инженеры связали эту страну с Италией, и с первым дыханием весны в оживавшем средневековье их дороги начинают топтать не только воины, но и торговцы

15

и пилигримы. Одной из этих дорог в конце IV века направлялся в Палестину неизвестный путник — так называемый «мэр Бордо». Другая была с X века обычным путем странствий к Сан-Яго-ди-Компостело. До самой глубины Пиренеев она овеяна воспоминаниями о Карле Великом и его двенадцати паладинах. Античная культура, продвигавшаяся сюда удобным и естественным путем, зачастую оставила здесь больше следов, чем в местах более близких к ее источнику.

О ранней зрелости Аквитании еще в XII веке говорил внешний вид ее городов: в храмовых постройках Пуатье, Ангулема и Периге чувствуется византийское влияние, и прославившая лиможские мастерские великолепная эмалевая промышленность являет такое техническое совершенство, такое чувство краски, которые сами по себе красноречиво говорят о культурных связях и возможностях, заложенных в стране. Через море, Альпы и Прованс сюда передавались отдаленные отсветы той культуры, которая еще сияла полным блеском, когда на севере Франции только еще начинали загораться новые центры. Она будет клониться к упадку, когда эти последние начнут расцветать. Другим условием интенсивной и разнообразной жизни в стране были старые ее связи с «Островом океана». Пловцы из Средиземного моря рано указали этот путь, и он стал одним из самых живых путей средневековой торговли. В сношениях с Британией — впоследствии Англией — лежит один из элементов процветания Бордо, и он открывается на первых страницах его истории, проходя затем все средневековье. Понятно, что город, что весь край

«был яблоком раздора между скрещивающимися здесь народами. За него спорили воины Цезаря с гелльетами, вестготы с франками, солдаты Карла Мартела с берберскими бандами юга» (Vidal de la Blache *12. *Поль Видаль де ла Блаш (1845—1918), автор многих работ по исторической географии Франции. — Б. К. **).

В интересующий нас период здесь начинают чередоваться и бороться французская и английская власть, впрочем в нашем случае представленная французским принцем, «сыном Элеоноры».

Если в богатой натуре Ричарда рядом с его нормандской энергией и в некоторых случаях анжуйской нежностью мы можем почувствовать его аквитанскую сложность, то, присматриваясь ближе к его материнской семье, мы могли бы с известной вероятностью угадывать

16

что именно внесла в семью Плантагенетов изменчивая принцесса, дочь страны басков, готов и латинян, внушка династии трубадуров, целого гнезда певчих соловьев солнечного края. Прадед Ричарда по матери, Гильом IX Аквитанский, своими песнями открыл век

миннезанга. Как некогда «мэр Бордо», как впоследствии правнук Ричард, он побывал в Иерусалиме. Там он

«претерпел бедствия плена». Но, «человек веселый и остроумный» (*iocundus et lepidus*), он «пел о них забавно в присутствии королей и баронов, сопровождая пение приятными модуляциями».

Достойный образец тому же прославленному своею *luxuria* (сладострастием) правнуку, Гильом IX был великим сердцеедом и поклонником женской красоты. Прославив ее в песнях, он собирался основать около Ниора «женский монастырь», где сестрам вменялся бы в послушание устав сердечных радостей. Его внучка, прекрасная Элеонора, могла бы быть подходящей настоятельницей подобной обители. Если на юге она окружена была певцами, то и впоследствии на нормандский север, в Руан, она перевезла за собою по крайней мере одного — Бернарда де Вантадура, достойно здесь воспевшего ее красоту.

На берегах Гаронны в пору молодости Ричарда прошла коротким, но душистым цветением поэтическая жизнь Жоффре Рюделя, певца «дальней принцессы» Триполи. Ричард, хотя родился в 1157 году в Оксфорде, вырос и воспитывался в Аквитании. Едва подучив возможность создать собственный двор, он населил его трубадурами.

«Он привлекал их отовсюду, — с неодобрением замечает Роджер Ховденский, — певцов и жонглеров; выпрашивал и покупал лстивые их песни ради славы своего имени, пели они о нем на улицах и площадях, и говорилось везде, что нет больше такого принца на свете».

Подобно деду своему, Ричард сам охотно упражнялся в славном искусстве песни. К сожалению, кроме двух поздних элегий, ничего не сохранилось из его творчества: из них одна дошла на французском, другая на провансальском языке. Тот и другой были для него родными. С 1169 года он считался «графом Пиктавии» и, стало быть, аквитанским герцогом, а в 1173 году, когда политике Анри II удалось привести Лангедок в зависимость от Аквитании, Раймунд Тулузский принес Ричарду присягу как своему сюзерену.

На французском юге прошла для Ричарда вся его жизнь, поскольку она не уложилась в поход на Восток, если исключить недолгие его пребывания в Париже и

17

Руане, несколько месяцев войны с отцом около Тура и Ле-Манса и несколько периодов войны то в Нормандии, то в Оверни с прежним другом, парижским королем Филиппом II, в 1194—1199 годах. В Англии, в Лондоне, Ричарда почти не видали, кроме нескольких недель 1189 года, когда он там короновался и после венчания шумно пировал, и потом — нескольких недель 1194 года, на пути из Германии, из имперского плена, во Францию, для борьбы с Филиппом. С историей Англии, таким образом, меньше всего приходится связывать личность Ричарда. И поскольку связь эта была, она носила характер преимущественно отрицательный: она демонстрировала стране в пределах, в каких последняя разбиралась в происходящем (она обнаружила это в движении, приведшем к Великой хартии), обременительность искусственного союза с материковым государством, интересам которого ее так часто приносили в жертву. Происходящее научило ее обходиться без короля, которого она видела так мало и так редко.

Жизнь Ричарда развернулась во Франции, достигла величайшего напряжения на Востоке и завершилась во Франции.

18

II. БОРЬБА ЗА ПРИАТЛАНТИЧЕСКУЮ ФРАНЦИЮ

Ричард был любимцем матери, и, так как эта последняя вечно враждовала с отцом, он был предметом антипатии последнего. Сыновья Анри и Элеоноры — Анри Младший, Ричард и Жоффруа рано стали поверенными матери, которая посвящала их в супружеские измены и

любовные похождения Анри II. Вместе с ними и вместе с вассалами тех разноплеменных сеньорий, во главе которых номинально были поставлены принцы: Анри Младший — в Анжу и Нормандии, Жоффруа — в Бретани и Ричард — в Аквитании и Лангедоке, она страдала от тирании короля, деспота как в семье, так и в отношении подданных. «Раздел», который в 1169 году Анри произвел между сыновьями-мальчиками в расчете удовлетворить областное самолюбие этих разнообразных миров, дав им особых принцев, был фиктивным и только дразнил порывы к независимости тех и других. На деле принцы были только куклами, которых не пускали в их «государства» без строгого явного надзора и тайного соглядатайства. В 1173 году, уже женатый и даже коронованный английской короной, Анри Младший и шестнадцатилетний Ричард все еще были только наемными слугами отца в своих «государствах». Побуждаемые матерью и вассалами, они в этом году восстали против Анри II, вызывая разлив инсurreкционных движений по всей огромной французской территории Плантагенетов. Бретанцы и нормандцы Севера, анжуйцы и пуатевинцы у океана, баски пиренейских склонов поднимают оружие за принцев. Волнение докатывается до «Острова океана», и в далекой Шотландии ее король присоединяется к восставшим. В течение тех двух лет, которые захватила война принцев, их постоянной опорой, моральной и военной, был их «вотчим»-сюзерен Людовик VII, столкнувшийся в этом деле со своей бывшей супругой.

19

Таковы юношеские впечатления и действия Ричарда. Анри Младший после некоторых неудач первый капитулировал и просил о перемирии. Ричард пытался еще некоторое время держаться, но должен был, в свою очередь, покориться. Элеонора в самом начале войны была схвачена и увезена в заточение. Расправа с сыновьями была относительно милостивой. Их титулы были оставлены за ними. Кроме того, каждому были присвоены на правах личного владения по два замка и часть доходов в их «государствах». Наилучше наделен был младший, «Вениамин отца», шестилетний Иоанн, «граф Меретонии».

С годами власть Ричарда в Аквитании стала более реальной. В пределах общих директив отца он деятельно в ней распоряжается, подавляя восстания, которые в этот и последующий период, период 1176—1178 годов, направлены против отца и сына. Эта вечно откалывавшаяся и вечно бурлившая страна, в смутных и неорганизованных мятежах которой еще с каролингской эпохи хотели видеть проявление «аквитанского патриотизма», была скорее ареной бессознательных возбуждений, не связанных общей мыслью и общим планом, но имевших, конечно, какие-то постоянные причины. Та неустойчивость политических комбинаций, в которые вступала Аквитания, должна была являться стимулом постоянной неуравновешенности. Уже восстание принцев, усмирённое в 1174 году, оставило в ней немало бродячих элементов, опасных и беспокойных людей, готовых поддержать всякое воинственное предприятие. От склонов испанской горной стены вместе с холодным воздухом высот придвигалось влияние привычек горных племен басков — «стражей Пиренеев». Только в отдельных случаях, конечно, питали особенно острое раздражение те бытовые детали, которыми было окружено здесь суровое правление Ричарда — его пресловутая *luxuria*.

«Он похищал жен и дочерей свободных людей (*несвободные, очевидно, в счет не шли*), делал из них наложниц».

Трудно думать, чтобы это было главной причиной, по которой от Лиможа до Дакса и Бигорра вассальный мир Пуату и Гаскони непрерывно волновался. Девятнадцатилетний принц в годы 1176—1178 развил энергичную усмирительную деятельность, о которой с восхищением высказывается Геральд Камбрезийский.

«Откинув — по мудрому отеческому распоряжению — имя отцовского рода, он принял честь и власть рода материнского. В нежном возрасте он до того не укрошенную землю обуздал и усмирил столь доблестно, что не

20

только умиротворил потрясенное в ней, но собрал и восстановил рассеянное и разбитое. *In formam informia redigens, in normam enormia* *13. «Приводя в форму

*бесформенное, в норму ненормальное» (лат.) **, он упорядочил старинные границы и права Аквитании».

Геральд пользуется случаем, чтобы высказаться о Ричарде вообще. Это принц, который

«гнетет судьбу и пробивает властно пути в грядущее. Он вырывает у обстоятельств успех, второй Цезарь, ибо, подобно первому, верит не в совершенное, а в то, что предстоит совершить. Яростный в брани, он вступает только на пути, политые кровью. Ни крутые склоны гор, ни непобедимые башни не служат помехой внезапным порывам его бурного духа».

Среди тревоги непрерывных восстаний

«благородный граф Пиктавии, — так галантно выражается хроникер, — изучил искусство войны».

Этим мастерством страна славилась искони. В дни же Ричарда в одном из его врагов, затем превратившемся в поклонника, оно нашло очень яркого поэта. Это был Бертран де Борн.

«Чтобы понять, — замечает историк французского общества в XII веке, — до каких пределов могла дойти любовь к войне и кровавой ее резне, до какой степени грабежи, пожары и избиения могли стать для баронов этой эпохи утехой и потребностью, следует изучить жизнь и произведения трубадура Бертрана де Борн, рыцаря и шателена».

На наш трезвый и мирный ум этот поэт произвел бы впечатление сумасшедшего, о котором решительно недоумеваешь, чего он, собственно, хочет. Из него хотели сделать барда борьбы за аквитанскую независимость в период восстаний против Анри и Ричарда. В самом деле, Бертран был не только поэтическим вдохновителем войны. В базилике Святого Мартина Лиможского он сам на Евангелии принимал клятвы заговорщиков и был как бы хранителем их повстанческой присяги.

Однако сделать его носителем национальной или политической идеи могли только те, кто вовсе не читал его стихов. «Идея» его до крайности элементарна. Он хочет одного: чтобы вокруг него не прекращалось взаимное избиение, уважает только тех, кто дерется, и презирает тех, кто этого не делает. Он долго бунтовал против Ричарда, который отнял у него замок. Когда же последний в порыве великодушия или расчета вернул его, Бертран начинает воспевать того, кому дал прозвище «Мой Да и Нет».

«Вот подходит веселая пора, когда причалят наши

21

суда, когда придет король Ричард, доблестный и отважный, какого не бывало еще на свете. Вот когда будем мы расточать золото и серебро! Вновь воздвигнутые твердыни полетят к черту, стены рассыплются, башни рухнут, враги наши узнают цепи и темницы. Я люблю путаницу алых и лазурных щитов, пестрых значков и знамен, палатки в долине, ломающиеся копья, пробитые щиты, сверкающие, продырявленные шлемы и хорошие удары, которые наносятся с обеих сторон... Я люблю слышать, как ржут кони без всадников, как кучами падают раненые и валятся на траву мертвые с пронзенными боками».

Только тех баронов, которые имеют отвагу доставлять ему это возвышенное удовольствие, любит и ценит Бертран. В борьбе Ричарда с Филиппом он проявляется только как кровожадный гурман ее деталей, не влагающий никакого смысла в ее содержание. Ему нравится тот, кто лихо нападает, и противен, кто ищет мира или дипломатических путей. Поэтому «Да и Нет» — его герой.

Если из галереи юношеских впечатлений Ричарда этот образ поэта войны мы дополним образом ее практика в лице некоего отважного рыцаря, который в пылу сражения вынужден был выбежать из рядов, потому что ударом меча ему сплющило шлем (вместе с головой, полагаем мы), домчаться до кузницы и, положив голову на наковальню, дожидаться, чтобы кузнец ударом молота распрямил шлем, после чего он вновь спешит в битву, — мы понимаем, в каких условиях благородный граф Пиктавии изучал искусство войны. Ричард, несомненно, и сложнее и тоньше Бертрана, а также отважного рыцаря со сплюснутым шлемом. Но и он — плоть от плоти этой жестокой, воинственной породы. Столь осторожный в своих выражениях, когда дело касается принцев, Геральд замечает, что

«зло всегда близко добру».

Ревнуя о деле справедливости и мира, карая праведной суровостью злых, он от лающих завистников получил имя жестокого. Хотя следует отметить, что, когда обстоятельства становились мирными, он умел облечься в милосердие и кротость, найти золотую середину.

«Тогда суровость его смягчалась».

«И однако же, кто усвоил известную природу, усвоил и ее страсти. Подавляя яростные движения духа, наш лев — и больше, чем лев, — уязвлен жалом лихорадки, от которой и ныне непрерывно дрожит и трепещет, наполняя трепетом и ужасом весь мир...»

«Львиное сердце!» Здесь Геральд почти называет то слово, которым в эпоху третьего крестового похода

22

певцы оденут, как постоянным эпитетом, яростного Плантагенета. Геральд знает его и в образе «кротком и милостивом». Таким будет он являться своим друзьям и близким соратникам. Таким будет знать его и опишет вернейший из них — поэт Амбруаз. Но Геральд слышал о нем с слишком различных сторон, чтобы не чувствовать, что даже в минуты кротости под нею «непрерывно» дрожит уязвленное каким-то жалом львиное сердце. Это жало, нужно думать, Геральд склонен искать в дьявольском родстве Ричарда. Но следует вспомнить, что на протяжении всей своей жизни «с самой нежной юности» Ричард неоднократно бывал ужален. Циническое поведение отца в отношении матери, ее долгое заточение, холодное выслеживание жизни сыновей, постоянное принесение в жертву интересов старших из них интересам младшего, ласкового любимца и впоследствии беззащитного предателя Иоанна, — все оставляло уколы в его раздражительной натуре.

Особенно глубоким уколом должно было остаться в нем поведение Анри II в вопросе брака Ричарда и его наследственных прав. Миром, который был в 1174 году заключен между Анри и Людовиком VII, предположен брак Ричарда с дочерью Людовика Адelaide (Алисой). Анри немедленно увез ее к своему двору. Но через некоторое время во Францию стали проникать слухи о том, что после смерти своей наложницы Розамунды, когда Алиса была еще почти девочкой, король поступил с нею нечестно (*quam post mortem Rosamundae defloravit*). Не сразу, вероятно, эти слухи дошли до Ричарда, и время от времени, когда французский король (с 1187 года им был уже Филипп-Август) поднимал вопрос об осуществлении брака, Ричард сперва настойчиво поддерживал перед отцом свои права. Потом, однако, он столь же упорно начал отказываться от них, вероятно осведомленный о настоящем положении дела.

Между тем вопрос о женитьбе принца получал очень серьезное значение с момента, когда старший брат его, Анри III (в 1183 году), а затем и младший, Жоффруа Бретанский (1186 год), были унесены злокачественной лихорадкой, и «граф Пиктавии» оказался естественным наследником Нормандии, а в дальнейшем — Анжу и Англии. Здесь ревнивый старый король, прежде интриговавший всячески против старшего и третьего сына (вступившего в нежную дружбу с Филиппом-Августом), сосредоточивает враждебное внимание на новом наследнике.

В конце 1187 года, когда при внезапном вторжении Филиппа в Иссуден Ричард и Иоанн поспешили на помощь отцу, Анри отклонил ее, заключив таинственное соглашение с Филиппом. Как обнаружилось впоследствии, в нем предполагалось, обвенчав Алису не с Ричардом, но с Иоанном, сделать супругов наследниками Аквитании, Нормандии, Анжу и Англии. Текст этих соглашений Филипп показал Ричарду.

Это был момент, когда молодой интриган на престоле Капетингов начинает спутывать карты опытного заговорщика — старого Плантагенета. Несмотря на свои юные годы (ему было в то время двадцать лет), мудрый Филипп нашупал больное место этой семьи и искусно его растревал. Если в 1186 году он вел слащавую дружбу с Жоффруа *14. *Кажется, не без иронии описывает хроникер, как при погребении Жоффруа Филипп кинулся к могиле, требуя, чтобы его похоронили вместе с другом.* *, то после его кончины какие-то нити протягиваются между ним и Ричардом. Ричард оказывается его гостем в Париже

(«Они ели за одним столом и спали на одной постели»)

и лишь после многократных настояний встревоженного отца является к нему, захватив по пути сокровища Шинона. Обстоятельства ускорили разрешение наступавшего кризиса. Ими были вести из Палестины.

Не слишком часто и не особенно точно — со времени второго крестового похода — доходили в Европу слухи о все обостряющемся и крайне неблагоприятном положении на Востоке. В течение последней трети XII века Сирия была ареной династических интриг и авантур баронов, колебавших ее единство пред лицом нового врага, который исподволь собирал силы в Египте и с 1174 года, объединив его с Сирией, окружил латинскую державу плотным кольцом своих владений. Это был молодой калиф Египта Салах-ад-дин (Саладин), религиозному и военному гению которого удалось вдохнуть новую молодость в дряхлевший ислам, увлекая его к движению полумесяца против креста.

Возможно, что Саладин, которому в самой мусульманской Сирии предстояла нелегкая задача объединения и подчинения тянувших врозь и мятежных стихий, не скоро добрался бы до латинских сеньорий, не будь он к тому вызван задорным поведением их князей. Подвиги Рено Шатильонского в заиорданской земле, нападение на мирный караван Саладина и захват его сестры вызвали его к агрессивным действиям. Однако бароны Сирии вовсе

24

не были готовы к серьезной войне. В самом Иерусалиме только накануне его падения в руки Саладина был несколько упорядочен династический вопрос, крайне осложненный правами больных (прокаженный Балдуин IV), малолетних (тринадцатилетний Балдуин V) и женских (принцессы Сивилла и Изабелла) претендентов. Брак в 1186 году Сивиллы с Гюи Лузиньянским, родственником Плантагенетов, укрепил за ними иерусалимский престол. Но в 1187 году при Хиттине собравшиеся наконец в большом числе силы христианской Сирии не выдержали натиска Саладина. В конце этого года, когда в Европе короли торговались у Шатору, из Святой земли стали являться беглецы с вестями о событиях, отдавших Иерусалим, его святыни, его короля, армию и большинство городов и замков Палестины в руки нового героя ислама.

В начале 1188 года, Филипп собирался напасть на Нормандию, чтобы выбить засевшего там Анри. Однако охватившее Европу волнение было так глубоко, что его нельзя было игнорировать. 21 января, побуждаемые легатами папы, короли съехались у дуба подле Жизора, обменялись поцелуем мира и возбудили вопрос о походе. Было известно, что, не дожидаясь этого съезда, Ричард принял крест.

В эту минуту, когда Запад как бы притих в напряжении, когда все приветствовали инициативу Ричарда, до него дошло, что аквитанские вассалы при поддержке Раймунда Тулузского восстали. Хроникеры не сомневаются, что этим восстанием он также обязан отцу, заранее завидовавшему славе, которой Ричард мог покрыть себя на Востоке. Ричарду теперь не приходилось думать о выполнении обета. Он вынужден был бросить все и спешить на юг.

Во второй аквитанской войне Ричард сбрасывает всякую тень зависимости от отца, как и

от вчерашнего друга и сюзерена Филиппа. От Тельебура, где, окружив главарей восстания, он принудил их принять крест

(«он не хотел иного искупления их вины»),

до Тулузы, в которой он осадил Раймунда, не внимая протестам Филиппа и предложениям «арбитража», он прошел с победами весь юго-запад,

«неколеблющийся и могучий».

А в то время как «лев» носился таким образом вдоль океана, две испытанные «лисицы» приносили на него жалобы друг другу: Филипп апеллировал против его действий к Анри как к отцу; Анри — к Филиппу как к сюзерену. Во всяком случае, действия Ричарда достаточно развяза-

25

ли руки Филиппу, для того чтобы «в праведном гневе» он, в свою очередь, двинул войско на различные окраины французской державы Плантагенетов, в направлении Нормандии, Турени и Берри. Ричард, справившись с Аквитанией, возвращается вспять и вносит войну в сердце Капетингского домена. Осенью 1188 года вся французская территория в огне.

Война была остановлена противодействием восточных вассалов Филиппа и давлением того, что в то время можно было бы назвать общественным мнением. Его руководителем и выразителем явился папа, и общее раздражение против королей, тративших силы в междоусобной войне, когда Сирия ждала их помощи, образумило расхोдившихся забияк. 18 ноября в Бонмулене три государя съехались для заключения мира. Но в этом съезде очевидцев поразило то, что Ричард прибыл вместе с Филиппом и держался подле него. Торжественный тон, в каком рассказывает происшедшее «Поэма о Гильоме ле Марешале», не закрывает — на общем фоне его трагичности — какого-то мрачного комизма. Беседа происходит между отцом и сыном, но читатель живо чувствует махинации той искусной руки, которой удалось обуздать и привести сюда разъяренного Ричарда. Филипп, несомненно, внутренне потирал руки от удовольствия, которое должно было ему доставить впечатление, произведенное их дружным прибытием на старого короля.

«Ричард, — так спрашивает в поэме Анри, — откуда вы?» — «Случай, — отвечает граф Пуатье, — свел меня с Филиппом. Я не хотел избегать его и проводил до места свидания». — «Хорошо, Ричард, если так. Берегитесь, нет ли тут предательства!»

Анри скоро в нем убедился. Филипп отвел его в сторону, чтобы дать ему «добрый совет». К этому «совету» он возвращается все три дня, которые длилось совещание, но встречает упорный отказ короля.

«Сын ваш — доблестный муж, но у него мало земли. Дайте ему вместе с Пуату Турень, Мэн и Анжу, и они будут в хороших руках».

В последний раз настаивает Филипп на так долго откладываемом браке, в последний раз требует для Ричарда гарантий его наследственных прав на Англию и Нормандию и распоряжения о присяге ему его вассалов перед отправлением в поход. Анри отказывает:

«Если здравый смысл меня не покинул, не сегодня он получит этот дар».

Тщетны убеждения и самого Ричарда. Анри упорно уклоняется от совета.

«Хорошо! — восклицает Ричард. — Я вижу ту правду, которой верить не

смел».

И, отвернув-
26

шись от отца и сложив руки, он склоняет колени перед Филиппом и объявляет себя его вассалом

«за Нормандию, Пуату, Анжу, Мэн, Берри и Тулузу».

Он просит его помощи в защите своих прав.

«И Анри, — *заканчивается прозаическое изложение той же сцены у Гервазия Кентерберийского,* — отступил на несколько шагов, спрашивая себя: что значит этот внезапный оборот дела? Он вспомнил о том, что произошло некогда, в те времена, как сын его Анри Младший соединился против него с Людовиком VII. И думалось ему, что теперь он стоит перед более грозной опасностью, ибо Филипп не такой человек, каким был Людовик».

Анри ушел один. Ричард удалился вместе с Филиппом.

Если целью Филиппа было создать трещину в анжуйской державе и оттянуть поход, в который его так же мало влекло, как и Анри, он достиг своей цели. С момента, когда добыча была в руках друзей, сам Ричард отодвинул свои крестоносные планы. Убеждения папского посла, попытка нового сговора в Ферте-Бернар не привели ни к чему. Филипп бравировал даже угрозу анафемы и прямо сказал легату, что за его горячностью стоят стерлинги английского короля. Война перекидывается еще на следующий, 1189 год, и месяцы июнь и июль молодые государи гоняются за старым по городам и замкам Анжу. Судьба хотела, чтобы Анри провел последние недели жизни в домне своего отца Жоффруа Плантагенета, оставаясь почти до конца в том Ле-Мансе, где он родился и где была могила Жоффруа, вопреки советам поскорее укрыться в Нормандии, которые давали ему друзья. 12 июня Филипп и Ричард появились у стен города, готовясь к атаке. Анри попытался отбросить врага, зажегши пригород, но пламя перекинулось внутрь стен, и опасность, грозившая жизни Анри, заставила его бежать со своими людьми. А Ричард и Филипп, в тот же день войдя в город,

«съели обед старого короля»

и преследовали его дальше. В стычке, происшедшей недалеко от Ле-Манса, под Ричардом был убит конь, и это приостановило погоню, дав возможность Анри опередить своих преследователей на двадцать миль. Почти без отдыха, уже полубольной, домчался он до замка Френе, где переночевал, и, сменив коня, двинулся на Анжер и Шинон. Скоро, однако, значительная часть Луары была в руках его врагов. Остановившись ввиду Тура, они собрались брать его приступом. Король, находившийся в Сомюре, был почти беззащитен, окруженный восставшей страной и городами,

27

перешедшими во власть его врагов. Он попытался вступить с ними в переговоры, обещая всевозможные уступки при условии только неприкосновенности его

«жизни, чести и короны».

Но от него потребовали, чтобы он сдался на милость победителей. Скоро Тур взят был приступом, и король принял предложенное ему свидание у Азе.

Но в назначенный для этого свидания день Анри почувствовал приступы смертельного недуга и не мог явиться в условленное место.

«Ричард не жалел его, не верил ему, говорил, что болезнь его притворная».

Когда свидание наконец состоялось и Анри прибыл, страдающий и больной, он был так подавлен и слаб, что принял все продиктованные ему условия, среди которых признание Ричарда его наследником в Англии, Нормандии и Анжу и возвращение ему его невесты стояли впереди. Договаривающиеся клялись не мстить тем из своих вассалов,

«которые изменили и поддержали противника»,

— условие, связывавшее, собственно, только Анри. И когда последний присягнул в его исполнении и потребовал список изменников, на первом в нем месте он нашел своего любимца — принца Иоанна.

В этот час физически и морально было покончено со старым королем. Его согласно желанию перевезли в Шинон, и здесь 6 июля он умер, покинутый всеми, кроме двух-трех друзей. Они не смогли оградить его смертную комнату от разграбления его же слугами, так что король

«остался почти голым — в штанах и одной рубашке».

Только к вечеру

«верный Гильом Триан покрыл тело своим плащом. Короля положили в гроб и перенесли в женскую обитель в Фонтевро, мимо огромной толпы нищих, в четыре тысячи человек, которые, стоя все время в конце моста на Луаре, ждали щедрой милостыни, но не получили ничего, ибо казна была пуста».

О чувствах, с какими пережил эти события Ричард, поэма о Гильоме ле Марешале, рассказавшая происшедшее, отказывается судить. Ему дали знать о смерти отца, и он явился присутствовать при погребении.

«В его поведении не было признаков ни скорби, ни веселья. Никто не мог бы сказать, радость была в нем или печаль, смущение или гнев. Он постоял не шевелясь, потом придвинулся к голове и стоял задумчивый, ничего не говоря...»

Затем, позвав двух верных отца, он сказал:

«Выйдем отсюда» — *и прибавил*: «Я вернусь завтра утром. Король, мой отец, будет погребен богато и с честью, как приличествует лицу столь высокого положения».

«Красив он был своею

28

суровую твердостью»,

— говорит о нем по другому поводу Геральд Камбрезийский. В час собственной смерти он вспомнил о могиле отца в Фонтевро и велел похоронить себя у его ног. Здесь же, рядом с Анри, положена была в 1204 году Элеонора Аквитанская.

3 сентября Ричард короновался в Лондоне, где надолго оставил память о шумных пирах и милостях, какими осыпал «верных», но более всего — старых слуг отца. «Юного брата» своего Иоанна он с безмерною щедростью и опасною доверчивостью одарил деньгами, землями и правами, почти превращавшими его в вице-короля Англии на время отсутствия Ричарда.

Можно считать несомненным, что на Ричарда не падает ответственность за страшные еврейские погромы, разразившиеся в городах Англии в связи с коронацией и сборами в крестовый поход. Эта ставшая обычной реакция масс на крестоносный призыв встретила в

нем, как обычно встречала со стороны высших властей в средние века, твердый отпор. Ричард дал его, поскольку имел время заняться делами Англии, всецело увлеченный своими восточными планами.

29

III. БОРЬБА ЗА СТАНЦИИ В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

Европа конца 1189 года под разливом третьей крестоносной волны представляет полную тревожной жизни картину. Ни второй, ни впоследствии четвертый походы не заставляют вспомнить то, что пережито было в первом. Но третий был окружен тою же торжественной всенародностью. Как сто лет назад, на широких обительских дворах, в феодальных замках, на погостах деревенских церквей и на городских площадях не говорили ни о чем, кроме вестей, приходявших из Палестины. Множество знатных и незнатных воинов давно уже находились на пути в Палестину или высадились на ее берегах, пополняя ряды огромной армии, собравшейся у Аккры и начавшей ее осаду. Более полусотни кораблей с севера, несущих ополчения норвежцев, датчан, шведов и фризмов, обогнули берега Испании. Фридрих Барбаросса со своей немецкой армией пробивал себе путь через горы и равнины Малой Азии. Все ожидания были теперь обращены на запаздывавших королей Англии и Франции, которые уже приняли крест и дважды — в декабре 1189 и январе 1190 года — повторили обет. В их приготовлениях сказалось все их несходство. Филипп думал не столько о походе, сколько о том, что наступит на другой день после него. Судьба его королевства, казны и архива, только что начинавшего расцветать Парижа заботила его гораздо больше, нежели судьба далекого предприятия, в которое он ввязывался почти против воли, подталкиваемый настроением окружающих. Уходя, он все готовил для возвращения и, принимая обязательства, думал, как свести их на нет. Этот холодный и трезвый государь знал, что настоящее дело ждет его на едва начинающем крепнуть его домене — в Париже.

30

Здесь он предвидел и готовил последнюю схватку с Плантагенетом. Не желая и опасаясь нажимать на плательщика своей страны, он, хотя и издал вместе с Ричардом постановление о всеобщем экстренном сборе в интересах похода саладиновой десятины, охотно покрывал всех уклоняющихся от нее либо собирался использовать то, что удалось бы через нее извлечь, не на Иордане, но на Сене.

Ричард все напряжение мысли и жертв, более всего принудительных жертв своих «верных», сосредоточил на крестовом походе. Собственный военный и морской министр, интендант и министр финансов, он показал себя в этих сборах первоклассным организатором ввиду данной, увлекшей его цели. Но две цветущие страны — Англия и анжуйская Франция — были принесены ей в жертву. Облеченный всеми полномочиями, кардинал Иоанн из Ананьи выкачивал саладинову десятину из Лиможской и Пуатевинской епархий. Другие агенты Ричарда делали то же в Англии. Учтя и реализовав сокровища своего отца (они дали ценность в 100 тысяч фунтов серебра и золота), Ричард целиком предназначил их на цели похода. А затем началась торговля всем, что только можно было продать, в особенности в Англии — потому ли, что здесь руки его были свободнее, чем в сеньориях, где он чувствовал себя вассальным государем, или потому, что в качестве французского принца он был более равнодушен к судьбам своих островных владений и глух к идущим оттуда голосам. Города, замки и различные феодальные права, сюзеренитет над Шотландией, укрепленный усилиями его отца, графство Норгемптонское, проданное им за хорошую цену дурхемскому епископу

(«из старого епископа я сделал молодого графа»),

— все брошено было на ставку крестового похода. Даже ко многому привычных современников Ричарда поражала «бесстыдная» спекуляция некоторыми статьями, например государственной печатью, все прежние утверждения которой король объявил недействительными и, потребовав для признания законности прежних грамот приложения

новой, заказанной на этот предмет, взимал при сем случае соответствующую пошлину. Его известную шутку, что он

«готов продать сам Лондон, если бы нашелся покупатель»,

положительные люди не могли не сравнивать с тем бережным вниманием, с каким Филипп-Август, уезжая, устраивал свою столицу. Ричард широко использовал для тех же целей указания

31

Климентовой буллы, гласившей, что те, кто не участвует лично в походе, должны оказать королю материальную помощь.

Самых богатых из своих прелатов и даже отчасти из своих баронов Ричард часто вопреки их желанию не брал в поход, облагая произвольными поборами в десятки тысяч фунтов. Свидетели этой оживленной и безудержной распродажи с молотка старой Англии, даже при сочувствии целям похода, полагали, что она выходит за пределы здравого смысла, и искали для нее различных объяснений. Они заключались в том, что король видел в этом походе свою последнюю жизненную ставку.

«Ричард знает, что он не вернется из похода»

— потому ли, что сам в порыве энтузиазма собирался отдать вслед за армией и королевством собственную жизнь, или потому, что уже в эти годы сознавал роковую надорванность своих сил слишком ранним напряжением, а также (так в противность гимнам хвалителей его телесной мощи и красоты говорили «лающие собаки») разнообразными немощами, нажитыми в скитаниях и распутстве,

«Он желчно-бледен. Он страдает лихорадкой, и на его теле более ста прыщей...

Через них выходит худая кровь»,

— говорили вышеупомянутые «собаки». Кажется, в данном случае правильнее будет верить хвалителям. О недугах Ричарда хроники заговорят только после многих недель осады при Аккре, когда половина войска (капетингский король и турецкий султан не явились исключением) переболела различными болезнями. Желчная бледность и худая кровь слишком хорошо годились для тех, кто хотел подчеркнуть в Ричарде дьявольские стихии его природы, чтобы не заподозрить натяжки в описании королевского рыцаря, красоте которого слагали песни Европа и Азия.

Неизвестен точный численный и национальный состав армии Ричарда. Навряд ли, однако, правы большинство историков, и в частности один из последних, Картелиери, когда именуют людей этой армии англичанами (Engländer). Англия поставила в поход в большом числе суда и коней

(«по два — от каждого города, по одному — от каждой обители и королевского имения»).

Что касается людей армии, навряд ли англичане играли в ней особенно заметную роль. В ряду вождей имена графа Лейчестерского и епископов Кентербери и Солсбери теряются среди имен французских северных и западных прелатов; рядовые же воины в знаменитой хронике по-

32

хода — «Истории священной войны» Амбруаза — выступают однообразно под именами

«анжуйцев, пуатевинцев, бретонцев и людей Ле-Манса»

— никогда не англичан. И если автор «Истории» — сам французский трувер — называет

в отличие от Ричардовой «французской» армию Филиппа-Августа, то нас не должно вводить в заблуждение это имя. Долгая и сложная история имени Francia (здесь не место воспроизводить ее) делает понятным, почему владыкой Франции по преимуществу считали парижского короля. Но имена не закрывают культурно-национального существа дела. По происхождению, языку, культуре армия Ричарда в преобладающей массе была такой же французской, как и армия Филиппа. Только технический экипаж флота, нужно думать, включал наряду с бретонскими и нормандскими также и английских моряков.

Ричард обдуманно снабдил его всем необходимым:

«золотом и серебром, утварью и оружием, одеждой и тканями, мукой, зерном и сухарями, вином, медом, сиропом, копченым мясом (*и, вероятно, столь любимым северными моряками, многолетним, прогорклым маслом*) , перцем, тмином, пряностями и воском».

Эти запасы впоследствии были пополнены в Сицилии и на Кипре. Те богатства, какие сосредоточились на флоте английского короля, дали ему впоследствии возможность выдерживать случайности длительных осад и арабской блокады, перекупать на свою сторону саму армию Филиппа-Августа, от простых воинов до родственников короля. Еще дома, из капетингской Франции, многие бароны стали предлагать ему свою службу, соблазненные его золотом.

«Я не курица, которая высидит утят, — говорил он по этому поводу со своею образно-саркастической манерой. — В конце концов кого тянет в воду, пусть идет».

В этих условиях явно крылись семена будущих раздоров. Но эти тучи только слегка туманили небо крестоносной Европы третьего похода в июньские дни 1190 года,

«когда роза разливает свое сладостное благоухание, ибо пришел уже Иванов день — срок, в какой господь хотел, чтобы паломники двинулись в путь» (Амбруаз).

В ясное солнечное утро, соединившись в Везле,

«с крестом впереди, с тысячами вооруженных людей, выступили светлейший король Англии и французский король. Двигутся они на Восток и ведут, за собою весь Запад. Различное по языку, обычаю, культу, войско полно пламенной рев-

33

ности. О, если бы ему суждено было вернуться с победой!...».

В движении вдоль Роны, проходившем как сплошное торжество среди встреч и прощаний, число паломников возросло до ста тысяч. Королями принято было решение разделить, чтобы осуществить посадку крестоносцев в разных гаванях. Филипп направился через Альпы в Геную, Ричард — в Марсель, где он потерпел некоторые разочарования; прошел было даже слух о гибели его северного флота, огибавшего Испанию. Ему пришлось для посадки армии закупить новую флотилию, на которую,

«смущенный, сел он со своими людьми».

В возрасте тридцати двух лет впервые вступал Плантагенет в волны Средиземного моря.

Это событие было по-своему отмечено тем неизвестным нам ближе спутником Ричарда, который от этого момента и до самой Мессины поведет точный дневник его пути. Может быть, этим спутником был сам Фиц-Нил, в чьей хронике (дошедшей до нас под ошибочно приставленным к ней именем Бенедикта из Петерборо) вкратце воспроизведен этот журнал. Три-четыре страницы хроники, где он проходит перед читателем, при всей их лапидарности — одни из самых содержательных ее страниц.

Мы не можем ожидать под пером хроникера XII века с его условными приемами яркой живописи того царства синей влаги и синего воздуха, белых грез — городов, жемчужинами раскинувшихся по зеленому приморью, глубокого ощущения мира великих развалин и великих воспоминаний, — в которое вступала флотилия Ричарда. «Веселье Возрождения» не дрожит еще в сердцах суровых крестоносцев. Зато перо нашего автора детально и по-своему точно. Более двадцати пяти гаваней итальянского западного берега и до десятка островов, разбросанных вдоль него, отмечены как этапы, мимо которых прошли корабли английского короля. И если автор в половине случаев не дает ничего, кроме имен, тем выразительнее отдельные, оброненные им характеристики. Прошло, может быть, не более века с тех пор, как после долгого омертвения вновь начали оживать берега Италии. Среди прибрежных высот, которые вечно глядятся в волны лазурного моря, отражая в нем свои тогда еще не снятые с вершин, как ныне, зеленые кроны лесов, автор знает и называет приюты, где таятся свившие здесь гнезда с III века разбойничьи шайки.

«Есть на вер-
34

шине утеса Cap Cercel *15. *Мыс Серсель (франц.)*. * замок, где скрываются разбойники и пираты».

Варварский флот укрылся за мысом, в заливе, где некогда нашел приют Одиссей. В темной роще около Laurentum не распуганы человеческим движением серны, лани и косули. Она «изобилует» весело скачущим зверьем. Через рощу эту

«прошел 26 августа король Ричард».

Можно думать, что на этом пути он, как и его секретарь, не остался вполне равнодушен к более глубоким впечатлениям Италии, когда

«вступил в Тибр, в устье которого стоит прекрасная одинокая башня и виднеются развалины древних стен»,

когда пробрался через дубраву

«по мощеной мраморной дороге, устланной наподобие мозаичного пола»,

когда останавливался в гавани

«ввиду входа в древнюю крипту».

Слепы и безнадежно спутаны в голове крестоносца XII века славные итальянские меморабилии. Чудеса ее природы, памятники античного искусства, прошлое христианских святынь будят смутное отражение в его темном мозгу. Лишенные перспективы, эти отражения располагаются в одной плоскости.

«Король миновал остров, который называется Изола Майор. Он вечно дымится. Говорят, остров этот загорелся от другого, имя которого Булкан. Он зажжен огнем, летевшим, как гласит молва, от этого последнего и спалившим море и множество рыб... А потом проехал король мимо острова Батерун и гавани Байи, где имеются Вергилиевы боги... Подле города и замка есть малый остров, где, как говорят, была школа Лукана. И донныне под землей сохранилась прекрасная комната, где Лукан обычно занимался науками...»

Переночевав в одном из приоратов Монте-Кассинской обители, Ричард был с почетом принят и угощаем в обители Троицы.

«Здесь есть деревянная башня, которую осаждал и которой овладел некогда Робер Гвискард...».

На 28-й день он достиг Неаполя и

«отправился в обитель Януария, любопытствуя посмотреть на сыновей Неймунда, которые стоят в пещере в костях и шкурах».

Бесполезно заниматься догадками, в какой системе могли располагаться в голове ученого секретаря Ричарда и его собственной эти разнообразные исторические воспоминания и с какой стороны могли интересовать их бани Вергилия, «остров Вулкан», подземный кабинет, где имел обыкновение заниматься науками Лукан, а также, сы-

35

новья Неймунда «в костях и шкурах». Но трудно усомниться, что великая Монте-Кассинская обитель, опора норманнской власти и латинского культа в Южной Италии, и еще больше башня, разбитая век назад норманнским его родичем, должны были затронуть воображение короля, хотя бы как достойный подражания пример... В Южной Италии, в Сицилии, куда направлялся Ричард, все дышало еще воспоминаниями норманнского завоевания, тревожных событий борьбы, неуспокоенной вражды рас и культур. Более века владычества норманнской династии не до конца примирило с нею те латинские, лангобардские и еще более греческие и сарацинские элементы, которые преобладали как в городах, так и на сельских территориях юга. Сознавали ли воинственные моряки Ричарда, его «бретонцы, пуатевинцы и анжуйцы», в какую сложную среду вступали они со своими очень простыми крестоносными девизами и воинственными аппетитами? Во всяком случае, эта сложность вскрылась на первом же большом этапе их пути — Мессине, и к ней, как впоследствии то было на Кипре и в Аккре, они применили характерные для них простые решения.

Салерно был для Ричарда предпоследним этапом перед Мессиной, где уже ждал его согласно условию Филипп-Август и куда несколько ранее вошел, бросив якорь в отдалении от гавани, его флот, потерпевший аварию у испанских берегов, но в целом малоповрежденный. Во главе его 23 сентября английский король вошел в порт Мессины.

Ричард Девизский, один из самых точных биографов короля Ричарда, видел в Мессине эту огромную — по тогдашним временам — флотилию. Он насчитывает в ней 100 грузовых судов и 14 легких кораблей, хорошо построенных и хорошо оборудованных, больших и гибких на ходу, с отлично подготовленными капитанами и матросами. Каждый корабль вмещал сорок боевых коней, столько же рыцарей, множество пехотинцев и провиант для людей и коней. Построенные в различных доках Англии, Нормандии и Пуату, эти величественные суда, ходившие на веслах и под парусами, отмеченные каждое своим именем (хроникер всякий раз называет имя корабля, отличавшегося в битве или везшего короля), являлись лучшим созданием кораблестроительного искусства северных моряков. Ничего подобного не было в распоряжении Филиппа-Августа. На коротком свидании, ко-

36

торое имели оба короля в Генуе, ему пришлось просить у Ричарда хотя бы о пяти галерах. Ричард предложил ему три... Филипп отказался от этой подачи и начал переговоры о судах с генуэзцами, затаив не первую уже обиду против своего вассала.

В Мессине его ждали новые уколы. Войдя в гавань со своей свитой на одном корабле (об остальных говорилось, что они «прибудут», он вызвал всеобщее разочарование населения, высыпавшего навстречу. Чтобы избежать толпы, он спешно прошел пешком к отведенному ему дворцу и сел перед ним... А когда, неделю спустя, 23 сентября, в гавань Мессины вступал флот Ричарда, море звучало пением рогов и музыкой военных труб. Сбежавшиеся мессинцы любовались эффектной картиной пестро раскрашенных судов с крыльями драконов по бокам, фантастическими зверями на носу, многоцветными тканями знамен и шатров, группами коней и рыцарей.

«А когда Ричард сел на скакуна (и поехал по улицам), видевшие этот кортеж говорили, что это, вправду, вступление короля, созданного, чтобы править великой землей. Но греки сердились, и лангобарды роптали на того, кто вступал в город с такою помпой...»

На виноградом поросшем холме за стенами Мессины было отведено обиталище Ричарду, и здесь он немедленно стал укреплять настоящий военный лагерь, вокруг которого как символ сурового правосудия расставил виселицы для предполагаемых воров и разбойников. Назначенные им трибуналы с первых же дней открыли свою деятельность, в круг которой вовлекали не только подданных Ричарда, но и беспокоивших их местных жителей, более всего тех греков, которых презрительно называли «грифонами».

В Сицилии, где армии предполагали переждать период осенних бурь, обстоятельства складывались неблагоприятно для успешного движения крестоносцев. С ноября 1189 года не было в живых последнего прямого потомка норманнской династии Гвильгельмо Доброго, друга всех крестоносцев,

«защитника и покровителя заморских христиан».

Претендент на корону, муж его тетки Констанции, император Генрих VI, был далеко. Пользуясь этим, в Сицилии захватил власть представитель боковой норманнской ветви Танкред Лечче. С ним пришлось сговариваться крестоносцам. Для Ричарда эти переговоры осложнялись его намерением добиться передачи ему того, что он считал вдовой частью сестры своей

37

по матери, жены покойного Гвильгельмо, королевы Иоанны. Агрессивная политика Ричарда вызывала у Танкреда (в связи с воспоминаниями о традиционной дружбе норманнских князей с французскими королями) потребность опереться на Филиппа и принять участие в той глухой, осторожной интриге, сетью которой последний понемногу опутывал Ричарда. Но выступать против него в открытом союзе не было в интересах и не входило в намерения ни того, ни другого.

В утомительной мессинской эпопее Филипп неоднократно берет на себя с известною искренностью роль посредника в тяжбе Ричарда и Танкреда, полный готовности сдерживать многие чувства личных обид, пожертвовать самолюбием.

«Французский король — агнец, английский — лев»,

— говорили мессинцы еще задолго до того, как им пришлось испытать всю тяжесть «львиных» и все неудобства петушиных свойств Плантагенета. Англо-норманнско-анжуйско-аквитанское население лагеря короля Ричарда держало себя вызывающе, как и его глава. Обитатели как сельской территории, среди которой расположился этот лагерь, так и самой Мессины, мирно жившие с французами Филиппа, которых было немного и которые вели себя осторожно, подражая своему королю, с глубоким отвращением относились к забиякам Ричардовой армии, «надутым» славой своего короля. Множество мелких недоразумений, отдельных столкновений, злых и насмешливых выходок лукавых «грифонов»

(«они, чтобы нас обидеть, закрывали пальцами глаза, они называли нас смердящими псами, а также обезьянними хвостами, каждый день чинили пакости, убивая наших паломников и кидая их тела в отхожие места»),

ответные и встречные грубости и насилия непрощенных гостей — все это непрерывно питало взаимное раздражение.

Тревога мессинцев пред лицом Ричардова лагеря стала вызывать с их стороны различные более или менее обидные, меры предосторожности. Говорили о необходимости

привести город в состояние обороны... Ричард, со своей стороны, захватив на побережье греческий монастырь и изгнав оттуда монахов, превратил его в свой интендантский штаб, сюда привез он наконец отпущенную Танкредом королеву Иоанну, здесь начал сосредоточивать провиант и оружие, доставляемые из Англии, закупаемые и, вероятно, захватываемые на месте. «Англичане» постепенно становились господами острова.

38

Одно за другим при таких условиях вспыхнули восстания, поводом которых в обоих случаях были случайные схватки. В результате горожане заперли ворота, поднялись вооруженными на зубцы стен, готовые отразить нападение. Воины Ричарда немедленно начали штурмовать город. В первом восстании Ричард сделал все, чтобы унять своих людей.

«Вскочив на самого быстрого скакуна, он помчался к месту схватки и палкою начал разгонять своих».

Вместе с Филиппом-Августом и видными прелатами и баронами соединенной армии, а также нотаблями города он организовал ряд совещаний в своем дворце. Но во время этих совещаний вновь стали приходить вести, что мессинцы открыли враждебные действия и убивают воинов Ричарда в его собственном лагере, как и в городе. Сам Филипп-Август вынужден был санкционировать активное выступление Ричарда против «проклятых грифонов» и, лично вполне безопасный от нападений (мессинцы объявили ему, что он, как и его люди, неприкосновенен и находится под их охраной), устранился от какого бы то ни было вмешательства и остался наблюдателем происходящего.

Зато для энергии Ричарда развертывалось широкое поле. Впоследствии некоторые хроникеры, как и певцы, прославили чуть ли не наравне с подвигами на Востоке дни Мессины. Личное мужество и презрение к опасности никогда не покидали Ричарда. С ничтожным отрядом он разгонял массы мессинцев, дразнивших его и осыпавших стрелами в его собственном лагере, но, по существу, «трусливых и малодушных». Он придвинул ближе к городу свои галеры и, собрав правильную армию, начал штурмовать стены. Их прорыв был делом нескольких часов, и, ворвавшись в город, победители

«наполнили его смертью и пожаром».

Впрочем, главное, чем занялись воины Ричарда, как и он сам, был систематический грабеж великолепного и богатого города.

Ни одна из хроник, даже враждебных Ричарду, не высказывает подозрения, что весь эпизод «первой сицилийской вечерни» мог быть подготовлен намеренно, в интересах лучшего снабжения крестоносной армии. Но несомненно, он был в этом смысле как нельзя более на руку предприятию короля Ричарда. Англия, Аквитания, Анжу и Нормандия дали свой взнос в его интендантство. Теперь наступала очередь Италии; пока не дошло дело до византийского Кипра. Ричард расположился полным хозяином на завоеванной территории.

39

Укрепления заняты были его капитанами, и на башнях водружены Ричардовы знамена.

Полное пренебрежение к сюзеренным правам французского короля (для Ричарда оправдывавшееся подозрительным бездействием Филиппа и добрым согласием с мессинцами), нарушение договора, по которому всякое завоевание и вся добыча должны делиться пополам, вызвали со стороны Филиппа протест, сперва очень резкий, на который Ричард дал столь же резкий ответ. Однако затем Филиппу удалось добиться того, что до возвращения Танкреда город считался под охраной обоих государей и французские знамена были водружены рядом с Ричардовыми. Мир, торжественно заключенный королями, был подтвержден присягой в присутствии их вассалов, которые закрепили его своей клятвой. Он устанавливал основы взаимной «дружбы», верной поддержки и обязательство дележа в будущем всякой добычи.

От Танкреда вопреки «посредничеству» Филиппа-Августа (о его поведении в этом деле Амбруаз замечает, что оно не было *ni beau, ni honeste* *16. *Ни красивым, ни честным (франц.)*).

*) Ричарду не удалось добиться осуществления своих притязаний. Он удовлетворился освобождением сестры и выплатой 40 тысяч унций золота, из которых впоследствии по праву «дележа добычи» Филипп-Август выжал у него 10 тысяч марок. Во всяком случае, из мессинского предприятия Ричард выходил с казною, хорошо пополненной южным золотом. Здесь же получили наконец свое разрешение так долго тревожившие придворную Европу галантные похождения Плантагенетов. Намереваясь навсегда покончить со своими обязательствами в отношении Аделаиды, тем более что у него уже несколько времени тянулся новый, сильно увлекавший его роман с наваррской принцессой Беранжерой

(«это была благоправная девица, милая женщина, честная и красивая — *la belle au clair visage*, — без лукавства и коварства... Король Ричард очень любил ее; с того времени, как был графом Пуатье, он томился по ней сильным желанием»),

Ричард с согласия наваррского короля, вверившего принцессу Элеоноре Аквитанской, «велел привезти в Мессину свою мать, ее (невесту) и дам их свиты». Напрасно Филипп пытался делать возражения, напоминая о правах своей сестры. Ричард предложил формальное расследование

40

вопроса о девственности Аделаиды, грозя представить свидетелей ее связи с Анри II. Вероятно, угроза представлялась обоснованной, и Филипп, вынужденный проглотить новое унижение, за крупную денежную взятку и отказ Ричарда от приданого прежней невесты — Вексена и Жизора — признал себя удовлетворенным.

Ничто не мешало более движению «божьих воинов». Достаточно надоели честным крестоносцам свары королей. Дружественный Ричарду Амбруаз сообщает, будто Ричард

«не удостоивал входить в долгие пререкания с другим королем»

в тех случаях,

«когда тот поднимал такой шум (*faisait un tel fracas*)».

Но он признает, что

«много было тут сказано глупых и оскорбительных слов. Все эти глупости не станем заносить в наше писание...»

Месяц март был на исходе. На море дул благоприятный ветер. Филипп, присвоив крупную сумму за позор сестры, выехал первым на небольшой, закупленной в Генуе флотилии. Две недели спустя после него двинулся на восток и Ричард.

«Король больше не хотел терять времени. Он побудил войти в море (*entrer dans la mer*) своих баронов, свою милую и с нею свою сестру, чтобы они взаимно поддерживали друг друга, посадив с ними на большой „дромон" — грузовое судно — множество рыцарей. Этот корабль он пустил вперед, указав ему грести на восток. Но быстрые и подвижные „энеки" выехали только после того, как король пообедал. Тогда-то в порядке отчалил чудесный флот (*la flotte merveilleuse*). Была среда страстной недели, когда он покинул Мессину, отправляясь на службу богу и во славу ему. В эту неделю, когда Христос так много выстрадал ради нас, нам также пришлось перенести немало опасностей и бессонных ночей. Но Мессина, где теснилось столько кораблей, воистину может гордиться: ни в один из дней, сотворенных богом, такой богатый флот не покидал ее гавани».

«В порядке двинулась эскадра к земле господней, несчастной земле. Она прошла Фару и вышла в открытое море на путь к Аккре. Скоро мы нагнали наши

дромены, но ветер внезапно упал, так что король думал было вернуться. Волей-неволей пришлось нам провести ночь между Калабрией и Монжибелем. В страстной четверг тот, кто отнял ветер, кто может все дать и все взять, вернул его нам на весь следующий день. Он был, однако, слишком слаб, и флот вынужден был остановиться. В день поклонения кресту противный ветер бро-

41

сил нас к Виарии. Море взволновалось до дна; ветер покрывал его огромными, крутыми валами, и мы все время сбивались с пути. Мы были полны страха и болезненных ощущений в голове, в сердце и во рту. Но все это мы переносили охотно, ради того, кто в этот самый день удостоил принять страсть для нашего искупления. Буря была сильна и метала нас, пока не спустилась ночь. Тогда повеял ветер мирный, ласковый и попутный...»

«Король Ричард, чье сердце всегда открыто к доброму (*тот же Амбруаз*) , установил такой знак. Он указал, чтобы на его судне по ночам зажигали в фонаре большую свечу, которая бросала бы очень яркий свет на море. Он горел всю ночь, освещая путь другим. И так как с королем были искусные моряки, хорошо знающие свое ремесло, то все суда держались по светочу короля и не теряли друг друга из виду. Если же флот отставал, он великодушно поджидал его. И вел он эту гордую эскадру, как насадка ведет своих цыплят. Так проявлялись его доблесть и его великодушная природа. И всю ночь без печали и без забот плыли мы вперед».

В течение трех дней флот шел на всех парусах с королевским судном во главе.

«В среду же мы увидим Крит. Попутный ветер дул с силой, и, точно ласточка, летело судно, мачты которого гнулись... Видно, Бог сам испытывал удовольствие от предприятия своих слуг. Быстро шли мы до темной ночи, чтобы утром войти в бухту, где спустили паруса и отдыхали до воскресенья».

К утру флот достиг Родоса. Отсюда только три дня пути отделяли его от Кипра, и от этого последнего в полтора-два дня можно было добраться до Аккры, где уже с 20 апреля действовал Филипп, строя боевые машины.

Он, естественно, занял положение главы латинской армии с момента, когда пришла весть о гибели Фридриха Барбароссы в Малой Азии и рассеянии значительной части немецкой армии. Здесь, в лагере Аккры, под его санкцией принято было решение устранить от иерусалимского престола короля Гюи, который

«сам его утратил»

в проигранной битве при Хиттине и который уже во время осады Аккры потерял жену Сибиллу и тем самым близкую связь со старой иерусалимской династией. Совет баронов отдал право на этот имеющий быть отвоеванным престол Конраду Монферратскому, сумевшему после Хиттина нанести поражение Саладину и своей энергией и ловкостью привлечь на свой сторону

42

доверие защитников Палестины. Ту физическую связь с династией, которой ему не хватало, он с большою быстротою наладил, разведя младшую иерусалимскую принцессу Изабеллу с ее вялым и нелюбимым мужем Онфруа Торонским и обвенчавшись с нею

«с благословения епископа Бове, хотя он имел уже трех жен: одну — в своей земле, другую — с собою и третью — в запасе (*en reserve*)».

Основавшись в Тире и поставив от себя в зависимость снабжение крестоносной армии, Конрад очень искусно подготавливал свое воцарение. Заранее, однако, можно было предвидеть,

что эта комбинация, устранявшая старшего короля, который вдобавок был родственником Ричарда, не получит его санкции.

Штурм города решено было не начинать до прибытия Ричарда, которого с нетерпением ждали осаждавшие, но которое замедлилось еще на месяц после того, как пришли вести о вступлении первых его судов в кипрскую гавань у Лимассоля. Этот месяц — от 5 мая до 5 июня 1191 года — Ричард провел на Кипре, который поставил целью подчинить латинской власти и пополнить на нем свое морское снабжение.

Кипрский эпизод — гордость всех, кто разделил с Ричардом подвиги около Лимассоля и Никосии, — был как раз поводом для очень серьезных обвинений в пренебрежении крестоносным делом ради личных целей. Это обвинение — постоянно повторяющийся пункт в большинстве сочинений новой историографии, как в свое время и у капетингских хроникеров. Та резкая речь, с которой в самое горячее время завоевания Кипра обратились к Ричарду посланные Филиппа и в ответ на которую рассерженный король

«поднял вверх брови» (*le roi se courtoüça et leva les sourcils en haut*),

дала тон большинству этих суждений: вместо того чтобы спешить на помощь борцам за Аккру и Иерусалим,

«он тешится бесполезной военной игрой, бесплодно мучит невинных христиан (то есть греков), в то время как предстояло одолеть тысячи врагов Христовых. Значит ли это, что перед более трудной задачей отступает его прославленное мужество?»

Однако же не одни друзья Ричарда (как Амбруаз) ответили на этот вызов (которого этот последний даже не захотел повторять:

«Были тут сказаны слова, которых лучше не станем и записывать»).

«Ричарда нечего было торопить. Он и сам достаточно спешил. Но раз он начал дела с греками, он, хотя бы за половину того золота, какое есть в России, не мог бросить Кипр, не за-

43

воевав его. Без этого он не мог бы ничего поделывать в Сирии. Кипр доставил ему массу того, что нужно для войны».

Мало того, не справившись с Кипром — таково убеждение Амбруаза и, по-видимому, Ричарда (мы имеем основание думать, что первоначально таково же было и убеждение Филиппа), — оставляя его у себя в тылу с его враждебным крестоносцам императором Исааком Комнином, который в качестве официального союзника Саладина задерживал как живую силу латинского Запада, так и военные запасы, шедшие оттуда на помощь Сирии, перехватывал людей, продавал их в рабство, трудно было иметь свободные руки под Аккрой.

«Мало что принесло Сирии столько зла, как этот соседний остров. Когда-то он был ее поддержкой»

(цветущий, как сельская территория, как сад, как промышленный и торговый очаг, этот богатый остров действительно один мог прокормить более обездоленные зоны и гавани Сирии). Но теперь от него ничего нельзя было ждать.

«Там царствовал тиран, настроенный к злу, изменник и предатель, хуже Иуды и Ганелона. Он отступился от Христа, был другом Саладина. Говорят даже, они пили кровь друг друга» (в знак братства).

Ричарду пришлось ближе познакомиться с коварством Комнина, когда не только

притеснению и ограблению подверглись пилигримы судов его флота, разбившихся у берегов Кипра, но также шедший одним из первых драгоценный корабль с невестой и сестрой короля был захвачен в почетный плен. Прибытие Ричарда сразу изменило обстановку. Он начал с переговоров, требуя, чтобы пилигримам были возвращены имущество и свобода, на что получил насмешливую реплику:

«Troupt sire!» *17. *Здесь: «Еще чего захотели, сир!» (франц.). **

и, несмотря на все уговоры, император

«не хотел дать более приличного ответа...»

«Услышав это поносное слово, Ричард сказал своим воинам: „Вооружайтесь“».

С этого момента Ричард не мог не увлечься борьбою самою по себе. В ней не в первый уже раз давали себя знать те данные сталкивающихся стихий, которые, начиная с первого крестового похода, определяли закон их отношений и предсказывали исход борьбы.

«Греки были у себя дома, но мы лучше владели искусством войны».

Если уверенностью в этом исходе столкновения мирной и изнеженной старой расы с железным воинством севера уже в Италии могли манить Ричарда «баш-
44

ни, разбитые Гвискардом», то здесь, на Кипре, о том же говорили воспоминания разгрома, которому он подвергся во время набега латинского князя Антиохии Рено Шатильонского. Деятельность здесь нового латинского воителя обещала быть менее опустошительной. Она получила даже в некоторых отношениях вид восстановления поправленных прав. Население ненавидело в Исааке придиричивого вымогателя и сурового правителя. При первых успехах Ричарда начались массовые отпадения, добровольные переходы

«под защиту английского короля»

и торжественные приемы, устраиваемые местными магнатами.

С первых дней появления Ричарда на Кипре вокруг него собрался целый цветник «бывших людей», побитых или изгнанных князей Палестины: «иерусалимский король» Гюи Лузиньянский, выпущенный Саладином с очевидною целью создать разделение в среде христиан, после того как значительная часть осаждавших признала претендентом энергичного и ловкого Конрада Монферратского; брат Гюи, Годфруа; брошенный женою своею Онфруа, «владыка могучий Торона»; Боэмунд III, князь Антиохийский с сыном; Лев, князь Армении. Все они, с «великой честью» принятые «верным, великодушным» Ричардом и богато снабженные деньгами и утварью («кубки» играли преобладающую роль в этих дарах), приняли деятельное участие в экспедиции по острову за убежавшим императором. Несомненно, что ставка, выигранная на Кипре, была очень существенной и могла бы получить важное значение для дела осаждавших. Несколько раз хроникер описывает взятую и в большинстве доставленную обнищавшему и голодающему лагерю под Аккрой добычу.

«Они взяли прекрасную посуду, золотую и серебряную, которую император оставил в своей палатке, его панцирь и кровать, пурпуровые и шелковые ткани, коней и мулов, нагруженных, точно на рынок, шлемы, панцири, мечи, брошенные греками, быков, коров, свиней, коз, овец и баранов, ягнят, кобылиц и славных жеребят, петухов и кур, каплунов, ослов, нагруженных изящно вышитыми подушками, скакунов, которые были лучше наших усталых коней».

В замках, отбитых у греческих капитанов, Ричард

«нашел башни полными сокровищ и запасов: горшков, котлов, серебряных мисок, золотых чаш и блюд, застежек, седел, драгоценных камней, полезных, на случай болезни, алых шелковых тканей... Все это завоевал английский король,

45

чтобы употребить на службу богу и на освобождение его земли».

Оставив на Кипре людей,

«которые понимали военное дело, он устроил так, чтобы они посылали (на соседний берег) продукты: жито, пшеницу, баранов, быков, все, чем так богат остров и что оказало большую помощь Сирии. На пути к Аккре эта добыча пополнилась захватом огромным. Если бы вошел этот корабль в гавань Аккры, никогда бы не была бы она взята, так много средств защиты вез он с собою».

После горячего боя корабль пущен был ко дну со всем своим экипажем, из которого Ричард взял заложниками только 35 лучших людей.

«Когда услышал о том Саладин (в таком виде дошел до Амбруаза слух о горе султана), он трижды дернул свою бороду и воскликнул, точно лишившийся рассудка человек: „Боже мой! Я потерял Аккру!“».

Господство на Кипре людей Ричарда было безусловным. Оно начинало новую страницу его богатой культурными сменами истории. Когда пали одно за другим укрепления острова и дочь императора попала в руки Ричарда, Комнин,

«покинутый всеми своими людьми»,

явился к королю, сдаваясь на его милость и прося об одном: чтобы его не заключали ни в железные цепи, ни в веревочные узы. Чтобы не вызвать ропота людей, Ричард заключил его в серебряные оковы. С этого момента власть над островом была обеспечена латинскому миру на четыре века. После короткого господства здесь тамплиеров, которые, откупив остров, не смогли здесь удержаться, он был за несколько большую цену передан Гюи Лузиньянскому. И если потомки последнего иерусалимского короля больше никогда не вернулись в Палестину, зато на Кипре династия Гюи процарствовала триста лет, уступив его затем еще на один век венецианцам, после чего на нем до новых времен утвердились турки. Победа Ричарда здесь была, таким образом, чревата последствиями. Сознал ли он их значение, когда, задержав на месяц свою помощь Аккре, гонялся за армией «вероломного императора»? Мы, конечно, не решились бы отвечать утвердительно на этот вопрос. Но кто помнит, что, после того как окончательно утрачены были Иерусалим, Антиохия и Триполи, как все замки Ливанских гор и Заиорданской земли очутились в руках турок, как пали Яффа и, наконец, Аккра, переходя под власть ислама, как сам Константинополь стал турецкой столицей, Кипр долго еще был единствен-

46

ным и последним оплотом латинской, а с нею и под ее покровом вообще европейской культуры на Востоке, тот не может оценивать только отрицательно объективное значение кипрского эпизода. Здесь не место, возбуждать споры о преимуществе этой осуществившейся на четыре века культурной комбинации перед какой-либо мыслимой иной, если бы она могла, не будь Ричардова завоевания, сложиться в очаге трехтысячелетней культуры, каким был Кипр. Вернее всего без вмешательства Ричардова меча здесь на несколько веков ранее утвердились бы турки. Во всяком случае, как раз от мыслителей западного, латинского мира можно было бы ожидать более широкой и беспристрастной оценки дела Ричарда в восточном

IV. ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ В СИРИИ

Пора было вернуться на прерванный путь к Аккре. Прошел слух, что французский король собирается штурмовать крепость, не дожидаясь Ричарда.

«„Да не будет того, чтобы ее взяли без меня!..“ И больше король не хотел ничего слышать» *18. *Цитата взята из Амбруаза. **

Вновь в гавани Фамагусты он оснастил и вывел в море свои корабли.

«Вот галеры в пути, и король, по обычаю своему, впереди, сильный и легкий, будто перо на полете. Подобно быстро бегущему оленю, пересекает он море...»

Скоро выросла перед ним, возникая из синего тумана, мечта крестоносца — сияющая цепь Ливанских гор. Как в быстром сне, стали проходить великие византийские и латинские замки на их высотах и цветущие города побережья.

«Увидел он Маргат на склонах, обрамляющих землю господню, Тортозу, ставшую над волнующимся морем. Быстро миновал он Трип (Триполи), Инфре и Ботрон, увидел Жибле (Эль-Джибель) с его башней, которая царит над укреплением».

Столкновение с сарацинским судном задержало его у Сагунты,

«но потом сердце его стремилось только к Аккре».

Последнюю ночь он провел под Тиром (маркиз Монферратский не пустил его внутрь города), а утром, миновав Кандолин, был у Казал-Эмбера, ближайшей к Аккре стоянки. Отсюда город открывался перед ним как на ладони, а у стен —

«цвет людей всего мира, стоявших лагерем вокруг».

Лагерь сам вырос в настоящий город за два года борьбы за Аккру.

«Горы и холмы, склоны и долины покрыты были палатками христиан... Далее виднелись шатры Саладина и его брата и весь лагерь язычников. Все увидел, все заметил король...

48

Когда же близился он к берегу, можно было разглядеть французского короля с его баронами и бесчисленное множество людей, сошедшихся навстречу. Он спустился с корабля. Услышали бы вы тут, как звучали трубы в честь Ричарда, несравненного (*le poirreil*), как радовался народ его прибытию».

«Ночь была ясна... Кто смог бы рассказать ту радость, какую проявляли по поводу его приезда? Звенели кимвалы, звучали флейты, рожки... пелись песни. Всякий веселился по-своему. Кравчие разносили в чашах вино. Особенно радовалось войско тому, что король взял Кипр и привез столько припасов... Дело было вечером, в субботу... Сколько тут зажжено было свечей и факелов. Они были так ярки, что долина казалась охваченной пламенем».

В этом пламени восходило для осаждающих новое солнце, перед чьим светом, «точно месяц», отходил в темноту французский король. Так живописно изображает соотношение

обоих вождей Ричард Девизский. И более или менее ясно, что поведение нового солнца должно было воскресить старые обиды в сердце его отошедшего в тень сюзерена. Не только естественно

«все тянулось к Ричарду»,

привлекаемое его мужеством и славой только что совершенных подвигов. Эти золотые лучи были подлинным золотом, на которое Ричард немедленно начал перекупать руки и сердца крестоносной армии. Если Филипп платил по три бизанта своим воинам, то Ричард

«велел возвестить по войску, что всякий воин, из какой бы он ни был земли, получит от него, если захочет к нему наняться, четыре золотых бизанта»...

Не только множество средних и малых людей, но и более ответственные воины, например прислуга боевых машин Филиппа-Августа и даже ближайшие его вассалы Анри, граф Шампанский (племянник как Филиппа, так и Ричарда), бросали Филиппа и переходили на службу к Ричарду. На высотах Казал-Эмбера он раскинул свои шатры и стал возводить башню, служившую ему в Сицилии «иглом греков» и привезенную в Палестину на судах. Это чудовище, осыпавшее стрелами лагерь мусульман, в связи с паническим их настроением, вызванным вообще приездом Ричарда, заставило турок пасть духом и думать о сдаче. Когда же крестоносцы закончили засыпку рвов и придвинули лестницы к стенам Аккры, ее гарнизон предложил капитуляцию города со всем оружием и запасами. Он просил только о жизни и свободе.

49

Таким образом, нескольких дней (5—10 июня) оказалось достаточно после приезда Ричарда, чтобы обнаружился решительный успех для дела осаждавших. Предложенные условия, однако, были отклонены.

В этом отклонении, как и во всех непримиримых решениях, имевших целью довести врага до отчаяния — в надежде на более решительный, более блестящий успех, а также на месть до конца, мы чувствуем преобладающее влияние Ричарда. Город должен был быть взят штурмом, а осажденные — сдаться на полную милость победителя. Как некогда в войне с отцом, так ныне Ричард, безгранично веря в свои силы, не хотел быть связанным никакими условиями. Впрочем, в этот очень счастливый, очень благоприятный для крестоносцев период войны в Сирии ультимативная позиция была, по-видимому, установлена с общего сочувствия. Не Аккра сама по себе важна была для крестоносцев: она была только ключом к королевству, к Иерусалиму и к Кресту Христову, находившемуся в плену у Саладина. В гарнизоне Аккры находился цвет турецкого войска и военного штаба Саладинова: множество эмиров, ряд очень знатных воинов и жителей, родственники которых были разбросаны по всей Сирии и Месопотамии, до самого Вавилона. В данном случае Ричард знал, что делал, не желая продать за Аккру, только за Аккру, жизнь и свободу осужденных, держа в руках которых, он мог бы потребовать, и потребовал на самом деле, ни больше ни меньше как все то, путь к чему открывала Аккра: он требовал Иерусалимское королевство в пределах, присвоенных ему до плена Гюи, возврата всех христианских пленных и всех святынь Иерусалима... На эти требования, однако, гарнизон ответил отчаянной вылазкой против башни на Казал-Эмбер и разрушением ее части. Крестоносцы стали готовиться к штурму стен (14 июня).

Но так успешно начавшаяся июньская кампания была подорвана проявлением двух недугов, из которых один был преходящим, а другой — неизлечимым. Первым была вспыхнувшая в лагере эпидемия, от которой стали болеть воины и которая постигла обоих королей. Записанная в хрониках под именем «арнолидии» или «леонардии», эта болезнь более всего напоминает скорбут. Больных жестоко лихорадило,

«у них были в дурном состоянии губы и рот»,

выпадали ногти и волосы и шелушилась вся поверхность кожи. Ряд крестоносцев умерли

от этого недуга, и между прочим мужественный граф

50

Фландрский Филипп, — к огорчению войска и к удовольствию Филиппа-Августа, немедленно наложившего руку на его наследство. Первым заболел Ричард, и первый штурм стен, несмотря на его протест, произошел без него. Но в наступивший вслед за тем период подавленности и бездействия в лагере крестоносцев мусульмане оправились, починили разрушенные стены и, готовясь к решительной схватке, в ряде отдельных партизанских нападений на вражеский лагерь частичными грабежами, убийствами и пленом сонных его защитников усиливали растущую в нем панику.

Другую болезнью лагеря, более глубокой и безнадежной, была вражда в нем «французской» и «английской» его половин.

«Во всех тех начинаниях, в каких участвовали короли и их люди, они вместе делали меньше, чем каждый поодиночке. Французский король и его люди презирали английского короля и его вассалов, и обратно» (Роджер Ховденский) *19. *Роджер Ховденский (Гоуденский) — английский хронист конца XII в. — Б. К. *.*

«Короли, как и их войско, раскололись надвое. Когда французский король задумывал нападение на город, это не нравилось английскому королю, а что угодно было последнему, негодно первому. Раскол был так велик, что почти доходил до открытых схваток».

Признав безысходность положения, враждующие избрали коллегия третейских судей, по три с каждой стороны, обязуясь подчиняться ее распоряжениям. Она не добилась согласного действия. Максимум соглашения выразился в таком компромиссе, что, когда

«один штурмовал, другой обязывался защищать лагерь».

Во всяком случае, уже после первого, «французского» штурма, малоудачного вследствие вынужденного болезнью воздержания Ричарда и, вероятно, вынужденного его волею воздержания его людей, Ричард пытался вступить в отдельные переговоры с Саладином и обменялся с ним подарками. Посредником в этих переговорах выступает имеющий вскоре стать поклонником английского короля брат Саладина — Малек-Эль-Адил-Мафаидин.

Хотя Филипп-Август также имел, со своей стороны, сношения с Саладином (пораженным тем же недугом, что и латинские короли), посылая ему в дар драгоценные камни и принимая от него дамасские плоды, но тем не менее он, считавший себя вправе в качестве высшего и независимого главы крестоносного воинства на по-

51

добные шаги, видел предательство в тех же актах со стороны своего вассала, тем более что Ричард предпринимал их втайне от него. Недоверие «французов» к Ричарду, тем по крайней мере, которые не предались ему, возрастало. И когда заболел и Филипп-Август, почва для злой сплетни, будто он хворает, «отравленный врагами», была в значительной мере подготовлена. Она распространялась только очень глухо, пока оба короля официально оставались союзниками, в особенности когда с выздоровлением Филиппа атмосфера вновь стала живее и деятельнее.

Согласно плану Филиппа вокруг города смыкался возводимый крестоносцами вал, на котором устанавливались одна за другой страшные метательные машины, непрерывно воздвигаемые королями, баронами, орденами. Одна из них сооружена за счет рядовых крестоносцев, призванных к тому проповедью их духовных вождей. Она «получила имя божьей пращи», тогда как машина французского короля называлась «злой соседкой».

«И машина бургундского герцога делала свое дело, и машины тамплиеров сшибли голову не одному турку, как и башня госпитальеров, которая раздавала

хорошие щелчки, очень нравившиеся всем».

Ричард заочно принял участие в этой осадной войне, выдвинув на вал четыре меньшие машины и соорудив огромную каланчу, укрытую кожей, неуязвимую для турецких ударов и даже «греческого огня». Эти башни метали дождь ночью и днем, бросая громадные камни, которые убивали по дюжине турок.

«Один из таких камней показали Саладину. То были могучие морские валуны. Их привез из Мессины английский король, чтобы убивать сарацин. Но сам он все еще был в постели, больной и невеселый».

Он велел приносить себя к рвам, чтобы следить за битвой,

«но печаль, что он не может в ней участвовать, была тяжелее, чем недуг, который сотрясал его тело».

Уже в четверг 2 июля Филипп-Август лично вмешался в обстрел, снимая своими стрелами мусульман с зубцов Аккры; уже 3 июля слали осажденные послов к Саладину, извещая его, что они не могут больше держаться; уже Сафадин сделал последнюю отчаянную попытку отвлечь осаждавших, произведя в их лагерь вылазку, мужественно отброшенную воинами Ричарда. Под энергичным штурмом «французов» открылась огромная брешь в стене, и на ее вершину поднялся со знаменем в руках маршал Обри Клеман... Но лестница, по

52

которой он всходил, не выдержала тяжести напавших сзади. Он свалился и был втащен турками в город на железном крюке. Так попытка овладеть городом кончилась неудачей. Однако крестоносцы прочно укрепились в окопах, и после некоторых размышлений сам комендант Аккры Маштуб отправился к Филиппу предлагать капитуляцию на прежних условиях. Филипп отклонил ее в смысле старого ультиматума, и штурм должен был возобновиться после трехдневного траура по Обри Клеману.

Между тем Ричард, в свою очередь, вел переговоры с Саладином, пытаясь якобы найти основания для соглашения, на самом же деле, как заметили почти все наблюдатели происходящего, чтобы протянуть время и вызвать бездействие до своего выздоровления. О содержании переговоров нам ничего не известно, но, очевидно, они не привели ни к чему, так как 6 июля Ричард, наконец начавший чувствовать себя лучше, готовился лично повести штурм — угроза, по-видимому, звучавшая столь серьезно для Саладина, что он наконец решился внять убеждениям вождей осажденной Аккры и объявить свои окончательные условия. Что сыграло роль в этих предложениях, которые можно считать очень благоприятными для крестоносцев, — отчаянное положение Аккры и угрожаемые драгоценные жизни ее гарнизона, по всей вероятности, тревожные слухи о враждебных движениях на востоке, но только Саладин шел на этот раз на огромные уступки. Иерусалим, как и Крест Христов, как и все земли, завоеванные в течение пяти лет до дня пленения иерусалимского короля, имели отойти к христианам. Зато эти последние должны были заключить с ним двухлетний союз против его врагов за Евфратом, оставляя также в его руках Аскалон и Керак Монреальский. Эти предложения были отвергнуты обоими королями, и 7 июля штурм возобновился. Тем не менее, пока Ричард входил во вкус атаки, разгораясь мечтами о новых подвигах и завоеваниях (сам он, правда, не в силах был как следует стоять на ногах и обстреливал сарацин с носилок, на которых лежал, завернутый в шелковое одеяло), Конрад Монферратский с полного одобрения Филиппа и без ведома Ричарда, стоя на ночной страже в ночь на 11 июля, успел столкнуться с эмирами об условиях капитуляции и затем заключил с ними перемирие. Получилось полное трагикомическое противоречие положение. Маштуб и

53

Каракуш, не видя возможности ни сговориться с Саладином, ни выдерживать далее штурм, ни взять на себя ответственность за жизнь засевших в Аккре знатных турок, решились

капитулировать на свой риск. Конрад и Филипп заключали с ними перемирие, не сговорившись с Ричардом, а последний, ничего не желая знать о нем, штурмовал город... Филипп в ярости почти готов был штурмовать самого Ричарда, не слушавшего его приказаний, пока в дело не вступились другие вожди и не добились соглашения.

А затем начались раздоры по поводу условий капитуляции. Конрад и Филипп готовы были уступить населению не только жизнь, но и право уйти со всем имуществом. Ричард, как говорят о нем его недоброжелатели, был не согласен вступать «в пустой город», так как Мессина и Кипр приучили его к богатой добыче. Наконец 12 июля соглашение было достигнуто. Аккра передавалась крестоносцам со всем находящимся там золотом, серебром, оружием, судами, запасами и христианскими пленниками. За Саладина эмиры обязывались выдачей креста, 1500 христианских пленных и 200 тысяч бизантов. Защитники Аккры получали свободу и имущество только, однако, при условии выполнения Саладином в определенный срок этих обязательств. Иначе они оставались на милость победителей, у них в плену. Иерусалим в этом соглашении пока что обойден молчанием. Следует ли предположить, что он оставался целью дальнейших действий обоих королей, заключавших соглашение?

Вступление в Аккру совершилось с подобающим торжеством. На башнях ее взвились латинские знамена. Церкви, обращенные в мечети, вновь были освящены. Но с первых моментов недовольство разноплеменных крестоносцев вызвано было поведением обоих королей, которые разделили город и добычу между собою и впускали внутрь только своих верных и воинов, не давая доли в завоевании тем, кто задолго до их приезда, долгие месяцы бился под Аккрой. Особенно много горечи вызывал Ричард. Его известное столкновение с Леопольдом, герцогом Австрийским, которого он не любил как имперского князя, как сторонника Конрада и Филиппа, как родственника кипрского императора и чье знамя среди насмешек окружающих он сбросил с занятого герцогом дома, изгоняя его вообще из квартала, где он хотел расположиться, оставило сильный след в памяти как

54

герцога, так и его друзей. Хуже всего, однако, было то, что не прошло и двух недель после вступления в Аккру, как стало известно, что французский король собирается домой, выставя предлогом нездоровье — объяснение, которому никто не верил.

Он уходил, а за ним стали собираться его бароны. Тогда Ричард,

«который оставался в Сирии на службе богу»,

потребовал у него клятвенного, на мощах, обещания, что он не нападет на его землю и не причинит ему вреда, пока он находится в походе. По возвращении же не начнет войны, не предупредив его за сорок дней. И Филипп дал такую клятву, представив поручителем, между прочим, герцога Бургундского.

«Французский король собрался в путь, — *продолжает рассказ Амбруаз*, — и я могу сказать, что при отъезде он получил больше проклятий, чем благословений... А Ричард, который не забывал бога, собрал войско... нагрузил метательные снаряды, готовясь в поход. Лето кончалось. Он велел исправить стены Аккры и сам следил за работой. Он хотел вернуть господне наследие и вернул бы, не будь козней его завистников».

После отплытия Филиппа-Августа из Сирии (3 августа 1191 года) до момента, когда, осознав всю бесплодность дальнейшей борьбы, опасности, какими грозило его власти в Англии дальнейшее отсутствие, и, может быть, надорванность своих сил, Ричард тоже решился покинуть Палестину, прошло несколько более года. За этот год, быстро прошедший в Европе и наполненный исключительным напряжением в Сирии, где каждый день отмечен в дневниках людей, вовлеченных в борьбу, драматическими эпизодами, события неслись с головокружительной быстротой, не подвигая Ричарда к заветной цели, а, наоборот, непрерывно его от нее удаляя.

И если это было так, то прежде всего тут напрашивается объяснение, что дело

латинского христианства в Сирии в той форме, в какой его хотели осуществить крестоносные войны, было при данных условиях потерянное, обреченное дело. И при всей его личной силе и огромных жертвах Ричарду Плантагенету не дано было остановить колесо истории.

Далеко не так судит об этом большинство историков. Примыкая к суждениям ряда современников Ричарда, которые искали личных объяснений происшедшего, пред лицом громадной неудачи, постигшей еще раз крестоносную энергию в Сирии, они возлагают все-

55

цело и исключительно ответственность за нее на плохую политику английского короля.

Вот как складывались в этом памятном году события, на которые получил как будто исключительное влияние Ричард, если мы их представим, сжимая изображение значительного большинства хроникеров и новых историков.

Саладин «не смог» (так выражается, например, Куглер *20. *Kugler B. Geschichte der Kreuzzüge. B., 1880. **), повторяя выражение осведомлявших его арабских историков, осуществить в указанный договором срок его условий: он не уплатил ничего из суммы 200 тысяч византийских динаров, не отдал креста и не отпустил никого из христианских пленников. Тогда (по выражению того же историка) произошла отвратительная сцена. Ричард впал в безмерный гнев и, потребовав пленников Аккры, велел немедленно отрубить головы двум тысячам заложников под ее стенами. Это была «первая ошибка»: после этого Саладин имел основание не исполнять ни одного из условий и в дальнейших столкновениях не давать никакой пощады христианам. Другая заключалась в том, что при всей своей личной храбрости он оказался не способен установить «разумный план кампании» и провести его без отклонений.

«Перед ним стояла ясная задача — разрушить военную силу Саладина и завоевать Иерусалим».

Отклоняясь от нее, Ричард

«совершает новый промах»,

аналогичный тому, который заставил латинское войско сосредоточиваться так долго на Аккре: вместо того чтобы двигаться к Иерусалиму, он вновь занялся завоевыванием прибрежного города Аскалона. Этому уклонению историки, вслед за хроникерами, впрочем, находят и известное объяснение. К нему могло побудить Ричарда влияние Лузиньянов (одному из которых в последнем сговоре с Конрадом была обещана Яффа) или влияние тех рыцарей, у кого были владения в прибрежной полосе, или тех итальянских купцов, у которых были дела и интересы в этих коммерческих центрах и не было и не могло их быть в Иерусалиме.

Путь к Аскалону, трудный сам по себе, отягчался тем, что по повелению Саладина здесь были разрушены все центры, которые могли стать опорными пунктами для крестоносцев, и на каждом шагу грозили стычки с турецкими налетами. Около Арсуфа 7 сентября их ждали серьезные силы Саладина, но они были опрокинуты крестоносцами. К сожалению,

«увлеченный личными подви-

56

гами»,

обусловившими победу, Ричард

«забыл свой долг полководца и допустил турок оправиться и собраться с силами»:

он не преследовал их (Куглер). Достигнув Яффы, частично разрушенной, но представлявшей прекрасное сообщение с Аккрой и еще дававшей значительные удобства для жилья, войско остановилось, и отдыхало,

«вместо того чтобы немедленно идти на Аскалон».

Этим временем воспользовался Саладин, чтобы покончить с этим городом,

«важным соединительным звеном между Сирией и Египтом».

Он верил в силу крестоносцев и, очевидно считая гибельным возможный переход города в их руки, решил — с крайне тяжелым чувством — предать его разрушению. Задержка в Яффе была, таким образом, «новым промахом».

Услышав о начавшемся 16 сентября разрушении Аскалона, Ричард хотел было спешить туда, но его задержали советы окружающих его людей, которые считали наилучшим восстановить Яффу, укрепиться в ней и быстрым маршем пойти на Иерусалим.

«Однако Ричард не был человеком, который мог бы с выдержкой провести такой план».

Восстановление Яффы и нескольких разрушенных замков вокруг совершалось медленно, а Ричард

«тратил время в частичных стычках, в аванпостной войне, где искал самых изысканных опасностей».

Его безумная отвага и ужасающая мощь навсегда оставили грозную память. Но потеря времени, уходящего на эти подвиги, являлась «ошибкой», в свою очередь. Задержка в Яффе вызвала разложение дисциплины, и целыми отрядами уходили воины в Аккру, чтобы там вести веселую жизнь. Конрад Монферратский сделал дальнейший шаг в смысле предательства дела крестоносцев. Заинтересованный только в обеспечении за собою сеньорий, назначенных ему договором под Аккрой, он тайно обратился к Саладину с просьбой о санкции этих владений, обещая ему за то помощь против своих единомышленников.

В такой момент рядом с этим ударом Ричарду нанесен был еще более умелый — издали. То была весть, что Филипп вторгся в его французские владения и что поддерживаемый им Иоанн Безземельный в самой Англии готовит ниспровержение власти Ричарда.

В подобных условиях Ричард счел себя вынужденным думать о перерыве всей экспедиции и завязать переговоры с Саладином о перемирии. Арабские хроникеры утверждают, что в бесплодности их в этот период

57

была всецело вина английского короля.

«Едва лишь намечалось некоторое соглашение, он внезапно от него отказывался. Едва его предложения бывали приняты, он возбуждал новые осложнения».

Но это показание несколько трудно проверить, как и все подобного рода дипломатические обвинения. Не представлялось бы особенно удивительным, если бы в этот момент Ричард начал терять равновесие. Среди каких-то тяжелых колебаний в начале 1192 года, в холодные и ненастные зимние месяцы, он внезапно объявил поход на Иерусалим. План принят был с энтузиазмом, несмотря на тяжкие условия движения. Но когда войско было на расстоянии дня пути от Иерусалима, у его руководителей возник ряд сомнений в достижимости поставленной цели. Военный совет, где, естественно, главную роль играли вожди рыцарских орденов, указывал на отрезанность Иерусалима от моря, на его недавно возведенные Саладином могучие стены *21. По словам Амбруаза, лишь впоследствии крестоносцы узнали, что именно в тот момент Иерусалим был плохо защищен. *. Пизанцы,

как ранее, были за завоевание побережья. Ричард внял этим указаниям и повернул на Аскалон.

Ярко рисуют хроникеры горе пилигримов, оставлявших Иерусалим позади и близившихся к развалинам низвергнутого Аскалона. В его восстановлении Ричард проявил огромную энергию. Он сам присутствовал при работе, подбодрял ее своею веселостью и личным участием. Скоро валы, стены и целые отдельные дома встали из развалин. «Невеста Сирии» готовилась воскреснуть в руках крестоносцев.

Однако это важное дело восстановления Аскалона Ричард еще раз вынужден был бросить из-за вестей, пришедших из Аккры, где пизанцы, друзья Ричарда и Гюи, вступили в рукопашный бой с генуэзцами, друзьями Конрада и французов. Этот последний подошел к Аккре с морскими и сухопутными силами и хотел захватить ее для себя. Появление Ричарда здесь остановило эти планы. Но положение продолжало оставаться напряженным, и Ричард не мог не чувствовать глубокого понижения энергии, особенно когда вслед за пережитыми событиями вести об интригах Филиппа и Иоанна стали принимать все более тревожный характер. Вновь выдвинул Ричард вопрос о своем возвращении домой, но совет баронов поставил предваритель-

58

ным условием окончательное разрешение спора об иерусалимской короне. И когда этот спор предоставлен был Ричардом на решение совета, последний почти единогласно сошелся на Конраде Монферратском,

«единственном, кто мужеством, мудростью и политическим искусством»

удовлетворял трудным условиям момента. И если Ричард, пораженный до глубины души, нашел в себе такт не возражать против этого решения и сам послал известить Конрада о воле совета, то очень скоро ему пришлось признать разумность и неизбежность этой тактики перед лицом всеобщего торжества и не замедлившей сказаться огромной уступчивости Саладина. Он делал дальнейшие уступки и на территории Иерусалима, и на побережье, оговаривая здесь для себя только Аскалон. В Палестине как будто намечался некоторый приемлемый *modus vivendi* *22. *Способ сосуществования (лат.).* *. Но 28 апреля Конрад пал в Тире от руки двух убийц из секты ассасинов. Враждебная Ричарду молва обвинила его в этом убийстве.

С этого момента Ричард определенно теряет всякое самообладание. У него хватило спокойствия не настаивать на признании прав Гюи, и он принял как приятное и для себя решение избрание иерусалимским королем его племянника Анри Шампанского. Ради него он отважился на новые подвиги, отвоевал для иерусалимского королевства замок Дарум и собирался дальше продвигать завоевания по берегу. Но с наступлением весны сильнее разгорелась в массе войска жажда Иерусалима, и все более грозный характер принимали вести из Англии. Между судьбой собственного престола и Иерусалимом двоятся с этого момента стремления и желания Ричарда. Он готовится уезжать... Затем укоры и видения заставляют его остаться. Он решается вести войско к Иерусалиму, пользуясь благоприятным временем года и слухами о поколебавшейся силе Саладиновой армии, о настроении резиньяции, в каком находился султан и его штаб, и... у той же Бегнуба, от которой он повернул обратно прошлый раз, он останавливается на несколько недель, ожидая подкреплений из Аккры, а затем в силу тех же соображений, вызвавших страстный раскол в войске, в самом начале июля указал войску путь обратно на побережье, отказываясь от Иерусалима...

59

Понятно, что при таких обстоятельствах мир, о котором он вновь заговорил с Саладином, должен был определиться совершенно иначе, чем прежде. Саладин на этот раз не спешил с его заключением. Стянув вновь свое войско, он перешел в нападение, двинулся к Яффе и овладел бы ею, — кроме цитадели, она уже была в его руках, — если бы весть о нападении, дошедшая до Аккры, не подняла всю мощь гнева и мужества Ричарда.

Он собрал силы, какие только были в его распоряжении, и поплыл к Яффе и, не доезжая берега, спрыгнул в воду, чтобы скорее поспеть на место. Он принял удар преобладающих сил Саладина, победоносно его отбил и вернул цитадель и город. Теперь можно было говорить о

мире.

Но в этих переговорах Ричард совсем не тот, каким был под Аккрой и в боях на улицах Яффы. Несомненный и глубокий упадок духа, результат страшного напряжения, сделал его в этих переговорах вялым и уступчивым. Об окончательных условиях

«с глубоким горем и стыдом узнали»

очень скоро после 1 сентября, дня заключения мира, крестоносцы и христиане Палестины. Только полоса между Тиром и Яффой оставалась за новым иерусалимским королем. Ни Иерусалим, ни Святой крест, ни пленники, находившиеся в руках Саладина, не помянуты среди уступок турецкой стороны. Пилигримам без оружия разрешалось вступать в Иерусалим для поклонения святыням, но это право предоставлялось всего на три года.

«О дальнейшем (это опять-таки ставилось в укор английскому королю) договор не говорил ничего».

Ричард еще находился в Палестине, когда согласно одному из условий договора оставшимися крестоносцами было осуществлено паломничество ко Гробу Господню.

«Без оружия», как то было оговорено в соглашении, вступили они в Иерусалим, где процессией обошли святыни, «полные жалости и желания», и где видели христианских пленников, «скованных и в рабстве».

«Мы целовали пещеру, где взят был воинами Христос, и плакали мы горькими слезами, потому что там расположились стойла и кони слуг дьявольских, которые оскверняли святыне места и грозили паломникам. И ушли мы из Иерусалима и вернулись в Аккру...»

Ричард выждал возвращения третьей группы паломников и посадки их

60

на суда, а затем стал и сам собираться в путь. Он выехал из Яффы 9 октября. Через два же с половиной месяца, за четыре дня до рождественских праздников, после бури, разбившей его корабль, когда переодетым он пробирался через владения австрийского герцога, Ричард был схвачен его людьми и посажен в замке Дюрэнштейн на Дунае.

61

V. ДЕЛО ЛАТИНСКИХ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ НА ВОСТОКЕ

В этом очерке событий, который слагается как более или менее объективная сводка различных показаний, есть что-то, вызывающее ряд недоумений. К сожалению, многих из них не рассеивают писатели, дружественные Ричарду. Ни Амбруаз, ни Ричард Девизский не упоминают о недоразумениях, в последнюю минуту еще раз разделивших Ричарда и Филиппа. Между тем в изображении менее благоприятно настроенных хроникеров его поведение рисуется в такой же мере мальчишески-задорным, бесцельно-жестоким и вредным, в какой представляется целесообразной, гуманной и трезвой тактика Филиппа и Конрада. Ричард явно затягивал штурм города, не хотел соглашаться на приемлемые для гарнизона условия. Из-за него чуть было не расстроилось соглашение, и благодаря ему было, очевидно, введено то суровое условие, в силу которого пленники Аккры остались в руках победителя, что впоследствии дало возможность по невыполнению договора Саладином обезглавить две тысячи за стенами Аккры.

Однако, чем внимательнее вдумываешься в имманентный смысл событий, тем более странным представляется многое в таких оценках. Да, Ричард затягивал штурм Аккры: он хотел взять *город* «живьем»; он обнаружил полное отсутствие гуманности к пленникам Аккры. Но можно ли думать, что гуманность заставляла Филиппа спешить с принятием капитуляции и идти на любые условия? Нам хорошо известна проявившаяся с ранней юности

холодная жестокость Филиппа. Во имя чего могли бы мы предположить в нем, с циническим коварством стравившем в свое время детей и братьев в семье Плантагенетов, задушившем (вероятно) Артура Бретанского,

62

особую жалость к тем, кого он, так же как и Ричард, приучен был считать «врагами Христа»?

Разница между ним и Ричардом заключалась главным образом в том, что он уже спешил домой, тогда как Ричард, приготовившийся к долгой борьбе, намеревался вести ее дальше. Разница заключалась, в том, что Филипп, собственно, не ставил себе никаких целей на Востоке и выполнял долг приличия, проведя три неприятных месяца под Аккрой. Для Ричарда же самое важное дело его жизни складывалось на Востоке, и все равно, «божий ли паладин» или только славолубивый завоеватель, он ставил Иерусалим главной своей целью.

В данном случае ему, очевидно, трудно было мириться с мыслью, что упоение победой, которая уже давалась в руки после стольких жертв, накануне осуществления - преподносилось разбавленным пресною водою втихомолку заключенного соглашения. Понятно, что Филипп, уже строивший планы дальнейших махинаций дома, торопился поставить точку на эпизоде Аккры. Для Ричарда он был только началом действий в Сирии, после того как он едва получил возможность покинуть свои носилки. Власть над пленниками Аккры ставила в благоприятные условия эти действия. Его настроениям и планам нельзя отказать в последовательности, хотя бы проводимой с той жестокостью, какая характерна для его натуры, его века и условий борьбы.

Для чувства мирного культурного человека, мирного ученого конца XIX века (возможно, что коллеги последнего эпохи мировой войны — первой четверти XX века — уже чувствовали и судили иначе) представляется в такой же мере отвратительной, как и нецелесообразной, экзекуция под Аккрой. Ее изображают обычно как акт чисто импульсивный, не вызванный прямо действиями Саладина, который «не смог» выполнить в срок условий договора.

Хотя почему в долгий промежуток от 12 июля до 20 августа Саладин не мог выполнить ни одного из этих условий? Если ему трудно было быстро собрать сумму 200 тысяч бизантов, то уже гораздо меньше усилий требовалось, чтобы отпустить христианских пленников, и выдать Крест. При самой низкой оценке благоразумия и самообладания Ричарда трудно поверить, чтобы он осуществил «отвратительную сцену» под Аккрой, если бы султан после отъезда Филиппа в какой бы то ни было

63

мере двигал выполнение условий. Вернее всего с этим отъездом султан вовсе не собирался его исполнять — *que Saladin*, по выражению хроникера, *ne faisait que l'amuser* *23. *Поскольку Саладин только водил его за нос (франц.).* * — и лишь выигрывал время. О негуманности и жестокости поступка Ричарда, конечно, не может быть двух мнений для мирных людей и мирных ученых. Для воинствующих деятелей жестоких веков истории (как и для воинствующих ученых тех же эпох) категория гуманности большею частью оказывается плохо приложимой к войне и даже представляет противоречие в определении.

Иное дело — вопрос о целесообразности. «Поступок Ричарда освободил Саладина от всяких обязательств». Но, по-видимому, Саладин и без того считал себя от них свободным. Далее, новыми историками не учитывается тот довольно важный в этом смысле факт, о котором сообщает Амбруаз, что экзекуция решена была по совещании с окружающими Ричарда вождями и что согласно этому решению предположено было покончить с большею частью рядовых сарацин, но «сохранить всех людей высокого звания, чтобы выкупить наших пленников». Как видно, Ричард и его совет действовали не совсем без расчета. Конечно, эта мера вызвала великое озлобление и жажду мести. Но она не могла не внушить убеждения, что с Ричардом дело надо брать всерьез и что его нельзя *amuser* *24. *Водить за нос (франц.).* * безнаказанно. При известных обстоятельствах этот результат мог оказаться целесообразным. Паника, которую навел этой мерой Ричард, могла быть и была в ближайшие месяцы ему на руку. Конечно, она привела в негодование Конрада, который рассчитывал держать пленников в Тире и торговаться ими за свой счет. Дружественные ему хроникеры изобразили в

соответствующем бессмысленно-жестоким свете происшедшее. Это изображение подлежит некоторым оговоркам.

Далее следует вопрос о способности или неспособности Ричарда установить и провести какой-либо целесообразный план войны в Палестине, хотя бы тот, который ему предлагают, находя его совершенно «ясным», ученые XIX века: разгромить военную силу Саладина и взять Иерусалим.

Однако история показывает, что, хотя ясность и глу-

64

бокая обдуманность составляли достоинство и залог успеха военной культуры народов, создавших высокоразработанную теорию войны, действительность не раз шла мимо теории и наносила ей тяжкие удары, выдвигая неучтенные моменты и неожиданные стихии. Она могла сыграть помимо доброй воли и разума Ричарда такую же разрушительную роль в Палестине, даже при условии, что здесь столь ясный план предлагается *post factum*, при спокойном учете сделанных «ошибок». Мы ни минуты не сомневаемся, что известная часть их учтена правильно.

Однако некоторые оговорки напрашиваются и здесь. Прежде всего, в более частных случаях. Мог или не мог Ричард после победы при Арсуфе, осуществленной как настоящее чудо доблести и энтузиазма, после тяжелого перехода по побережью преследовать турок, «бежавших в горы»? Что мы знаем об условиях этого возможного преследования? Ровно ничего. Если Ричард все время рисуется человеком, который в самом жару подвигов, по крайней мере в каждом данном предприятии, стремится действовать до конца (таким мы его знали в войне с отцом, в усмирении Аквитании, а также под Аккрой), то были, очевидно, какие-то причины, не позволившие ему это сделать под Арсуфом. Не следует преувеличивать устойчивость и дисциплину всех этих пестрых армий. Ни Филипп, ни Конрад, ни Саладин не могли похвалиться лучшей. В то время как Ричард отдыхал в Яффе, Саладин — так его изображает Амбруаз — объяснялся со своими побитыми и бежавшими от Арсуфа эмирами, которые оправдывались в своем позорном бегстве невозможностью одолеть Ричарда:

«Это он производит такие опустошения в наших рядах. Его называют Мелек-Ричард, и это действительно Мелек, т.е. тот, который умеет обладать царствами, производить завоевания и раздавать дары».

Вернее всего вся эта беседа есть апокриф, но не крестоносцами придумано для Ричарда прозвище Мелек. «Разгромить до конца» силы Саладина, которые скрывались в крепких замках в горах, и преследовать со своими измученными отрядами армию, бежавшую в горы, могло оказаться невозможным даже для «Мелека». Ученые-историки нашего времени подают ему этот совет, основываясь на тирском продолжателе Гильома. Но с учетом действительной меры возможного тирского осведомителя с его монферратскими симпатиями следует, быть может, остере-

65

гаться не меньше, чем в некоторых случаях новых историков с их ясными планами.

Критики тактики Ричарда утверждают, что он напрасно терял время на побережье, занимаясь отвоеванием его городов, которое «не имело значения». Но если бы захват Аскалона крестоносцами действительно не имел значения, можно ли понять, зачем Саладин решился принести его в жертву и, не надеясь его отстоять, велел снести с лица земли великолепный город, «невесту Сирии». Это был пункт, связывавший Сирию и Египет. Тогда как с востока власть Саладина колебалась, в Египте он имел прочную базу. Не захватив этого узла, навряд ли крестоносцы могли выполнить вышеприведенный совет и «разгромить» военную силу Саладина. Возможно, конечно, что в своих маршах по побережью крестоносцы могли быть менее медлительны и не так долго предаваться отдыху в завоеванных городах. Автору данного очерка неизвестно ничего определенного о возможности ускорить эти марши. Она, впрочем, опасается, что другим историкам известно немногим больше.

Остается крайне тяжелый факт метаний между побережьем и Иерусалимом: трудный и неудачно прерванный зимний поход к святому городу, потеря времени в Яффе, новый поход

летом с тем же результатом и, наконец, неожиданно позорный мир. Здесь, несомненно, Ричард не на высоте, поддаваясь то страстному желанию паломников, то предостерегающим и, быть может, небескорыстным советам пизанцев и орденов рыцарей, наконец, в свою очередь, начав думать об отъезде и спешно ликвидируя самые жгучие вопросы Святой земли, чтобы обеспечить себе возможность ее покинуть. Что все эти колебания и напрасная трата сил не могли содействовать успеху, что в них проявилась какая-то неустойчивость и странная импульсивность главного виновника, этого не приходится отрицать. Навряд ли на это решился бы даже постоянный защитник Ричарда — Амбруаз. Он, который, вообще говоря, верил в конечный успех всего дела, раз оно было в руках Ричарда, объясняет, как мы это видели, неудачи «кознями врагов». Эти последние, разумеется, расстроили немало в его планах: не заставил ли его Конрад бросить Аскалон тем, что напал на Аккру, не бросили ли его бургундцы на пути в Иерусалим, не подрывал ли его энергию маркиз Монферратский тайными переговорами с Саладином? Но не все приходится сваливать на враже-

66

ские козни, так же как и на неустойчивость Ричарда. Кроме «козней завистников» было немало других причин, повлиявших на роковой исход всего дела. Они крылись в очень скоро обнаружившемся разногласии массы и ее вождей.

Если бы все дело заключалось только в том, чтобы после Аккры овладеть Иерусалимом, это, казалось, было осуществимо без, большого труда. Событиями у Аккры турецкая сила была надломлена. С другой стороны, масса крестоносцев рвалась в Иерусалим. Кажется, вся тоска веков, питавших латинскую душу грезой о Святом городе, воскресла с былою силой в этой наивной и дикой массе, когда после Аккры ее повернули на путь к Иерусалиму и стали вставать на этом пути волновавшие слух дорогие имена: Каифа и Капернаум, Назарет и Вифлеем...

«И каждый вечер, когда войско располагалось лагерем в поле, прежде чем люди уснули, являлся человек, который кричал: „Святой Гроб! Помоги нам“. И все кричали вслед за ним, и поднимали руки к небу и плакали. А он снова начинал и кричал так трижды. И все бывали этим сильно утешены...»

Находясь уже вблизи от Иерусалима, холодной зимою 1192 года они чувствовали себя больными и обнищавшими: потеряли много лошадей, сухари подмокли, соленая свинина гнила, платье разваливалось. Но сердца были полны радости и надежды достичь Святого Гроба. Они так страстно желали Иерусалима, что сберегали пищу для осады его. Заболевшие в Яффе велели класть себя на носилки и нести в лагерь с сердцем, полным решимости и доверия. В лагере царило самое беззаветное веселье.

«Господи, помоги нам, владычица, святая дева Мария, помоги нам. Боже, дай поклониться тебе, возблагодарить тебя и видеть твой гроб».

Не видно было сердитых, мрачных или печальных. Всюду были радость и умиление. Все говорили:

«Господи, вот мы на добром пути».

С таким самоотвержением и энтузиазмом, казалось, можно было сделать немало. Но Ричард вопреки той ясности, в какой дело представляется наблюдателям со стороны, не мог не прислушиваться к предостережениям «мудрых тамплиеров, доблестных госпитальеров и пуланов, людей земли». Они указывали, что, если бы крестоносцы немедленно стали осаждать Иерусалим, они сами очутились бы в засаде. Пути между морем и горами заняли бы турки, в чьих руках было большинство гор-

67

ных крепостей, и крестоносцы были бы отрезаны от гаваней, от всякой возможности снабжения. Саладин в свое время знал, что делал, когда, в принципе уступая Иерусалимское

королевство, сохранил за собою самые важные его крепости и гавани.

«Если бы даже город был взят, — замечает Амбруаз, — и это было бы гибельным делом: он не мог бы быть тотчас заселен людьми, которые в нем бы остались. Потому что крестоносцы, сколько их ни было, как только осуществили бы свое паломничество, вернулись бы в свою страну, всякий к себе домой. А раз войско рассеялось, земля потеряна».

В этом заключалось главное противоречие. Психология крестоносцев была более всего психологией «паломников». Важно было «узреть», «насладиться святыней», «унести памятку». Жар войска угасал, когда перспектива конца отодвигалась и завоевание Святого города предполагало долгую систематическую борьбу. Возможно и вероятно, что «мудрые тамплиеры и люди земли», что в особенности торговые гости побережья имели свои владельческие и коммерческие расчеты, представляющие мало общего со стремлениями паломников.

Но как мог игнорировать Ричард советы тех, кто длительно и постоянно жил в Палестине, кто так долго ее охранял, кто так хорошо ее знал? В таком случае, разумеется, во втором походе следует действительно видеть проявление крайней неуравновешенности, какой-то надрыв, что-то вроде покаянного подвига за мысль покинуть Палестину ради Англии или самолюбивую выходку, которой Ричард хотел зажать рот хулителей и удовлетворить томление паломников. Очевидно, во второй раз, когда Ричарда уже покинул герцог Бургундский, с его стороны было еще меньше шансов на успех. Он не увеличил их, конечно, вторичным отступлением, потеряв в очень значительной мере свой былой престиж в крестоносном войске. И все-таки, если после этого плачевного отхода и после развившегося вслед за тем наступления Саладина Ричард, успев еще совершить несколько импозантных подвигов, подписал неожиданно позорный мир, то здесь приходится учесть понижающее действие ближайшей обстановки: грозные посольства из Англии, растущее разложение в войске, которое истомилось долгой порою военного напряжения, которое стремилось уходить в Аккру; наконец, новые приступы болезни, ужасающую усталость, духовную и физическую, овладевшую Ричардом.

68

«Король был в Яффе, беспокойный и больной. Он все думал, что ему следовало бы уйти из нее ввиду беззащитности города, который не мог представить противодействия. Он позвал к себе графа Анри, сына своей сестры, тамплиеров и госпитальеров, рассказал им о страданиях, которые испытывал в сердце и в голове, и убеждал их, чтобы одни отправились охранять Аскалон, другие остались стеречь Яффу и дали бы ему возможность уехать в Аккру полечиться. Он не мог, говорил он, действовать иначе. Но что мне сказать вам? Все отказали ему и ответили кратко и ясно (*tout net*), что они ни в каком случае не станут охранять крепостей без него. И затем ушли, не говоря ни слова... И вот король в великом гневе. Когда он увидел, что весь свет, все люди, нечестные и неверные, его покидают, он был смущен, сбит с толку и потерян. Сеньоры! Не удивляйтесь же, что он сделал лучшее, что мог в ту минуту. Кто ищет чести и избегает стыда, выбирает меньшее из зол. Он предпочел просить о перемирии, нежели покинуть землю в великой опасности, ибо другие уже покидали ее и открыто садились на корабли. И поручил он Сафадину, брату Саладинову, который очень любил его за его доблесть, устроить ему поскорее возможно лучшее перемирие... И было написано перемирие и принесено королю, который был один, без помощи в двух милях от врагов. Он принял его, ибо не мог поступить иначе... А кто иначе расскажет историю, тот солжет...»

«Но король не мог смолчать о том, что было у него на сердце. И велел он сказать Саладину (это слышали многие сарацины), что перемирие заключается им на три года: один ему нужен, чтобы вернуться к себе, другой — чтобы собрать людей,

третий — чтобы вновь явиться в Святую землю и завоевать ее».

И Саладин ответил ему, что он высоко ценит его мужество, великое его сердце и доблесть, что, если суждено его земле быть завоеванной при его жизни, он охотнее всего увидит ее в руках Ричарда.

«Король искренне думал сделать то, что он говорил: вернуть Гроб Господень. Он не знал того, что нависло над ним...»

Эта мысль, с которой заключалось перемирие, дает возможность восстановить внутренний мир Ричарда как нечто более цельное, более последовательное. Его отъезд и заключенное перемирие должны были быть только перерывом. В этом и заключается объяснение не понятого Куглером трехлетнего срока для паломничества в Иерусалим.

69

Если на фоне рассеяния немецкой армии после гибели Фридриха и пассивности большинства воинов Филиппа мы оценим результаты деятельности Ричарда, мы можем сказать, что пребывание и подвиги его в Сирии не были бесплодными: он снабдил ее питательной станцией Кипра, он отвоевал для крестоносцев Аккру и Яффу, Торон и соединяющую их полосу. Аскалон мог быть захвачен через три года, и тогда в лучших, быть может, условиях могла возобновиться борьба за Иерусалим.

Но дело Ричарда в гораздо большей степени, чем его недостатками и промахами, подтачивалось внутренними недугами и неразрешимыми противоречиями. Уже после первого крестового похода Готфрид Бульонский напутствовал уезжавших крестоносцев просьбой

«не забыть о Святой земле, о нем, оставшемся в изгнании».

Слово «изгнание», звучавшее так странно в применении к положению иерусалимского короля, тем не менее выражало печальную реальность: слишком уединенное, ненадежное положение Иерусалима самого по себе. В Святую землю всегда шло много паломников и воинов, но «томление сердца» их бывало удовлетворено очень быстро обходом святынь. И любознательные странники, и мистические мечтатели не задерживались в Иерусалиме. Еще менее того положительные люди. Эти положительные люди завязывали длительные связи и искали оседлости в более живой и цветущей полосе Сирии. К ней они, естественно, толкали и кампании Ричарда и были по-своему правы: без прочной власти здесь власть над Иерусалимом была бы эфемерна.

Но, прошедшее горы и моря, то зажигавшееся энтузиазмом, то падавшее духом, северное воинство притягивал преимущественно Иерусалим, и, не учитывая того, что он мог стать для них ловушкой, воины тянулись к нему, они вели Ричарда по дороге, где в тылу немедленно могла сомкнуться грозная сила врага. Если бы ставка на Иерусалим была с большей твердостью поставлена местными силами, крестовый поход Ричарда мог бы ее могущественно поддержать. Ричард мог бы развернуть собственную политику, если бы остался длительно в Палестине. Но можно ли было серьезно требовать, чтобы в условиях заговора, поднятого против него дома, он подверг риску свою королевскую власть в Англии? Теряя ее, он все равно косвенно проигрывал свое дело также и в Палестине.

70

Возможно, что, будь у Ричарда лучше характер, Филипп-Август не уехал бы из Палестины в августе 1192 года и не стал бы интриговать, против него в Европе. Однако трудно думать, что Саладин, как будто готовый уступить Конраду Монферратскому некоторые города на побережье, уступил бы ему, не будь вредного вмешательства Ричарда, Иерусалимское королевство. Западная стихия, которая прочно завоевывала себе место в Сирии в форме колонизации и торговой гостыбы, все больше теряла его в форме властвования. Находясь ближе, создавая *modus vivendi* с христианами на пути торговых договоров, Саладин был в более удобном положении, чем Ричард, чтобы создать здесь прочную власть, и достаточно, силен, чтобы рано или поздно покончить с латинской

державностью. Дело завоевателя с далекого Запада, будь то Филипп, Фридрих или Ричард, было обреченным делом, независимо от хорошего или худого его характера. Скорее можно ставить вопрос, не было ли ошибкой растрчивать на него огромные силы. В этой великолепной расточительности Ричард отчасти символ всей крестовоносной эпопеи. Отчасти потому, что он не выразил ее идеального лица.

При всей любви к нему Амбруаза он не может сделать из него настоящего «божия паладина» и сам чувствует, что какое-то расстояние отделяет его от Готфрида Бульонского, как и вообще нравы, тон и одушевление третьего похода, по его мнению, далеки от того, что было в первом.

«Сеньоры! Не удивляйтесь, если бог пожелал, чтобы труды наших паломников оказались тщетны. Разве не видели мы в самом деле многократно, как по вечерам после долгого похода, когда войско располагалось лагерем, французы отделялись от других, раскидывали свои палатки в стороне. Так войско раскалывалось, и невозможно было, говоря правду, привести его к соглашению. Один говорил: „Ты вот то“, а другой отвечал: „А ты вот что!“ — и все это очень вредило делу. Гюг, герцог Бургундский по великой своей худости и великой наглости велел сочинить песню на короля; и песня была пакостная и полная ругательств, и распространилась она в войске. Можно ли обвинять короля, что он, в свою очередь, высмеял в песне тех, которые нападали на него и ругались над ним? Да... о таких надутых людях никогда не будет спета добрая песня, и бог не благословит их, как он сделал то в другом походе, историю которого рассказывают доныне, когда осаж-

71

дена и взята была Антиохия Боэмундом и Танкредом (вот это были безупречные паломники!), Готфридом Бульонским и другими славными князьями. Они хорошо служили богу. Он справедливо наградил их службу, и их подвиг был славен и плодovit.. »

Даль веков покрывает такую сияющею зарею «историю другого похода», что все его тени скрылись для Амбруаза. Боэмунд и Танкред вели себя под Антиохией и у Эдессы несколько не лучше, чем Ричард и Филипп под Аккрой. Но счастьем «другого похода» было прежде всего то, что в момент, когда он двинулся на восток, в Сирии разложилась арабская держава и не утвердилась прочно турецкая власть, что враждовали Египет и Сирия, что не было во главе турецких сил гения Саладина, что против крестовоносных вождей не интриговали дома; его счастьем была наличность в латинском войске Готфрида Бульонского и крепкого ядра «честных крестовоносцев», о которых мы гораздо меньше слышим в третьем. Залогом его успеха было и то, что впервые располагавшиеся здесь западные завоеватели охватывали мыслью Сирию как одно целое и к ее завоеванию в целом приложили руки как сухопутные войска Севера, так и флоты итальянских городов. Ныне в результате долгого сожительства Сирия распалась, в их представлении, на отдельные, более или менее притягательные части. Иерусалим далеко не в такой мере привлекал большинство. У каждой из осевших здесь групп были свои интересы, которые в конце концов вне единого латинского державства могли найти разрешение в сговоре не только с отдельным латинским князем, но и с самим Саладином, человеком очень культурным и поощрявшим латинскую мирную колонизацию. В этом всем крылись силы, разлагающие новое завоевание, особенно после того, как замки, возведенные некогда латинскими рыцарями и отдававшие в их руки Ливанский хребет, ныне в большинстве были в руках турок и обратились против них. Отныне ненадежным было в Сирии всякое завоевание, и гораздо больше перспектив открывало «соглашение». По этому пути пошел Конрад Монферратский и впоследствии Фридрих II (шестой поход). Возникла в крестовоносной Европе, как мы знаем, также другая идея: разбить турецкую силу в ее основной базе — Египте или «Вавилонии». Мы знаем, что сделано было на этом пути в пятом и особенно в седьмом и восьмом походах, несчастных походах Людовика IX. Чет

72

вертый поход, как известно, вовсе не добрался до «божьих врагов» — сарацин, но занялся «схизматиками-греками». Таким образом, третий поход и его столь много воспетый и

столь много осужденный герой Ричард Львиное Сердце остаются последними на пути движения в Сирию.

«Когда король уезжал, — так описывает Амбруаз прощальную сцену на берегу Сирии, — многие провожали его со слезами нежности, молились за него, вспоминая его мужество, его доблесть и великодушие. Они говорили: „Сирия остается беспомощной“. Король все еще очень больной, простился с ними, вошел в море и открыл паруса ветру. Он плыл всю ночь при звездах. Утром, когда занялась заря, он обернулся лицом к Сирии и сказал: „О Сирия! Вручаю тебя богу. Если бы дал он мне силы и время, чтобы тебе помочь!“».

73

VI. ЛИЧНАЯ ТРАГЕДИЯ РИЧАРДА ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ

Из мира, где некогда все казалось великим и простым, Ричард возвращался в мир, сложность которого он хорошо знал с юности. Ему не только было известно, что конец сирийской эпопеи не обеспечит ему триумфа на Западе. Он знал, что в создавшейся крайне напряженной атмосфере фокус потоков политической ненависти, которые в ней бушевали, сосредоточился именно в нем. Перед лицом раненого льва не было в Европе такой лисицы, которая не собиралась бы его лягнуть. Он знал, что император Генрих не прощает ему дружеских отношений и близкого родства с соперником Гогенштауфенов, Генрихом Львом, что он ставит ему в вину признание прав Танкреда на сицилийскую корону — император считал эти права своими; что Леопольд Австрийский обижен на него со времен Аккры; что Раймунд Тулузский готовит ему враждебную встречу в Марселе. Он был осведомлен не только о том, что Иоанн борется против его власти в Англии, а Филипп произвел вторжение в его французские владения, но что этот последний клеветал на него, как мог, обьезжая дворы и возводя на него бывалые и небывалые вины, вроде того, что Ричард подослал убийц к герцогу Монферратскому и отравил самого Филиппа, «отчего он оплешивел». Еще худшие рассказы вроде обвинения Ричарда в предательстве Святой земли распространял, разъезжая по Германии, лихой воин — епископ Бове.

В общем, берега Западной Европы должны были оказаться негостеприимными для Ричарда. Зная это, он составил сложный план возвращения. В течение некоторого времени он без особого смысла бороздил в разных направлениях море, не решаясь как будто фикси-

74

ровать свой путь. Затем он решил держать его на восточный берег Адриатики, чтобы инкогнито через земли австрийского герцога пробраться во владения Генриха Льва и с его поддержкой произвести высадку в Англии. Несмотря на принятые меры —

«он отпустил густую бороду и длинные волосы, он приспособил одежду и все прочее на манер людей страны»,

Ричард был узнан. Весть о прибытии и крушении у берега его судна распространилась, и его подстерегали.

«На самом быстром коне в сопровождении только одного спутника спешил он по пути к Вене и, прибыв к ней ночью, нашел убежище в небольшой деревне. Когда спутник его отправился закупать съестные припасы, король, утомленный долгой дорогой, лег на постель и уснул. А спутник, пытавшийся разменять деньги, был узнан одним слугою герцога, схвачен и отведен к герцогу».

Под пыткой он вынужден был открыть местопребывание Ричарда, и по его указаниям за ним явились немедленно и взяли его спящим *25. Как всегда неизменный в соблюдении своего достоинства, Ричард настоял на том, что отдаст свой меч только в руки герцога. *. 21

декабря Ричард посажен был в заточение в замок Дюрэнштейн на высоком берегу Дуная.

«В том году многие паломники, ушедшие с королем из Сирии, вернулись к праздникам рождества в Англию, надеясь найти там короля. И когда их спрашивали о нем, они отвечали: не знаем. Его корабль видели в последний раз в Бриндизи, в Апулии».

Державные политики Европы зашевелились.

«Ценнее золота и серебра была для них»

пришедшая из Австрии весть.

«Знаю, что порадуешь тебя, — пишет Генрих Филиппу, — враг нашей империи и смутитель твоего царства, возвращаясь домой, по божью изволению потерпел крушение... Ныне возлюбленный сын наш Леопольд... держит его в плену».

Однако Генрих VI не оставил у него Ричарда, но потребовал пленника к себе, ибо, как он выразился,

«невместно королю быть в плену у герцога».

Ричард недолго оставался в Австрии и скоро перевезен был под охрану германского императора.

Об этом плене, который вызвал рой тревожных слухов и легенд, сам король в письме к матери выразился, что его держат в нем «честно» (*honeste*). В более тщательной, чем прежде, оценке традиции Ричардовой эпопеи рассеялось без остатка красивое сказание, явившееся впервые в «Реймской хронике» XIII века. Оно

75

рассказывает, будто местопребывание короля долго оставалось неизвестным и друзья и слуги тщетно искали его. Темницу его открыл трувер Блондель, запевший под его окном песню, которая была им сложена когда-то вместе с Ричардом. И когда, допев первый куплет, он услышал, как с вершины башни кто-то отвечает ему вторым, он узнал пленника, стоявшего у окна. Но так как подлинный Блондель не рассказал ничего подобного и вообще до XIII века этот эпизод был неизвестен, то его, очевидно, следует отнести к более позднему творчеству. На самом деле, первые посланцы из Англии встретили Ричарда у Оксен-Фурта, когда его везли на сейм в Шпейер, и с этого момента начались переговоры о его освобождении. Сцена, которая разыгралась в Шпейере, имела результатом лишь то, что сердца многих имперских князей склонились в пользу пленника. С большим достоинством и полной искренностью Ричард отбросил все голословные и объяснил все серьезные обвинения, которыми, ораторствуя с высоты своего трона, осыпал его Генрих: убийство Конрада, козни против жизни Филиппа, унижение Леопольда, поддержка Танкреда и изгнание Комнина.

«Увлеченный страстью, я мог грешить, но совесть моя не запятнана никаким преступлением»

— на эту тему Ричард говорил с такой силой, что Генрих нашел наиболее уместным закончить эту сцену объятиями и провозглашением дружбы, и только до решения вопроса о выкупе и некоторых уступках, которые он собирался выторговать у Ричарда, он отправил его *in libera custodia* *26. *Домашний арест (лат.)*. * в эльзасский замок Трифель.

«Из него никто не вышел живым»,

— говорила об этом замке молва. Это одна из самых страшных твердынь

Гогенштауфенов. Над глубокой речной долиной тремя уступами восходит скала, увитая на нижних склонах виноградниками, а выше одетая темными лесами, полными дичи. Вся вершина ее скована стенами и башнями, а над тройной оградой, поднимаясь выше всего каменного лабиринта, на крутом пике Шарфенберга, упирается в небо центральная башня, хранившая сокровища империи. Сюда заключен был английский король.

Ему дана была известная свобода передвижения. Под почетной охраной пятидесяти рыцарей он мог покидать заточение и охотиться в шарфенбергских лесах.

76

Ему не делали в общем зла.

«Кто может „обидеть пленника или мертвеца?“»

— спрашивает сам Ричард в элегии, написанной им в тюрьме. Но можно представить, как чувствовал себя под этой священной охраной неприкосновенности смерти самый живой и беспокойный рыцарь в Европе! На короткий, правда, срок ему довелось узнать и унижительную горечь оков, когда самый хлопотливый из его заочных надзирателей, епископ Бове, посетивший в конце 1193 года Генриха VI, сумел в краткой, но убедительной беседе настроить его против узника. Ричард

«узнал на следующее же утро на собственном теле о прибытии епископа и о его ночных беседах с императором, ибо его нагрузили железом больше, чем мог бы снести конь или осел».

Письма Ричарда к матери, которыми он торопит свое освобождение, свидетельствуют о состоянии ужасного томления, в каком он жил.

«Мы остаемся у императора, пока не выплатим ему 70 тысяч серебряных марок... Берите *(для этого выкупа)* у церковных прелатов золото и серебро. Подтверждайте клятвенно, что мы все восстановим. Принимайте заложниками детей наших баронов. Как бы не затянулось наше освобождение по вашей медлительности».

По мере того как происшедшее шире доходит до сознания друзей Ричарда, отклики на этот призыв множатся. Первыми подняли голос поэты, вызывая прилив симпатий к узнику и раздражение против его тюремщиков.

«Домой без опасения Ричард ехал»,

— с гневом пишет знаменитый провансальский трубадур Пьер Видаль:

Как император, думая нажиться
На выкупе, им овладел коварно.
Проклятье, Цезарь, памяти твоей!

Перья и голоса самых славных лириков и витий Англии и Франции действуют единодушно в интересах Ричарда, пока собственная его песня не вступает в этот хор:

Напрасно помощи ищу, темницей скрытый,
Друзьями я богат, но их рука закрыта,
И бед ответа жалобу свою
Пою...
Как сон, проходят дни. Уходят в вечность годы...
Но разве некогда, во дни былой свободы,
Повсюду, где к войне лишь кликнуть клич могу,

В Анжу, Нормандии, на готском берегу,
77
Могли ли вы найти смиренного вассала,
Кому б моя рука в защите отказала?
А я покинут!.. В мрачной тесноте тюрьмы
Я видел, как прошли две грустные зимы,
Моля о помощи друзей, темницей скрытый...
Друзьями я богат, но их рука закрыта,
И без ответа жалобу свою
Пою!..

**27. Мы передаем эту знаменитую элегию лишь с некоторыми в смысле порядка выражений и мыслей — отступлениями от буквального перевода. **

Ричард должен был знать, что жалобы на равнодушие мира были только элегическим преувеличением. Друзья действовали за него повсюду. Старая Элеонора имела свой план. Он заключался в том, чтобы, содействуя сближению Англии с империей, противопоставить их союз главному врагу — Филиппу. В этих целях она всячески склоняла Ричарда к тому акту, которым особенно дорожил Генрих VI в своем имперском честолюбии: признании Англии членом империи и принесении за нее вассальной присяги Генриху. Этот вассалитет перед римским, «всемирным» императором как бы сам собою ослаблял вассальные узы, привязывавшие Ричарда к Филиппу, и был неунизительным по форме и необременительным по существу условием освобождения. Правда, император хотел, чтобы как следствие этого вассалитета Ричард обязался принять участие в походе против родственника и друга своего Генриха Льва. Но здесь Ричард проявил обычную свою — в вопросах личной чести — твердость и,

«предпочтя унижение бесчестию»,

соглашался на присягу и высокий выкуп, но решительно отказывался от «службы». Элеонора собирала везде, где могла, деньги, сокровища, заложников иставляла ходатаев в пользу сына. Весь северофранцузский епископат был в движении по делу Ричарда, и посольства из Англии не прекращались. Их поддерживала стоящая в оппозиции к Генриху сильная группа имперских князей, между прочим епископы Кельнский и Майнцкий. Папа, не сразу решившийся выступить с оценкой происшедшего преступления, в котором нарушена была неприкосновенность крестоносца — и какого крестоносца! — обращается наконец к церковным прелатам, приглашая их предать анафеме Генриха и Филиппа, если Ричард не будет восстановлен в правах. Условия были установлены к июлю 1193 года. Они фик-

78

сировали выкуп на 150 тысячах серебряных марок, из которых первые сто должны были быть доставлены «к границам империи» вместе с заложниками за выполнение остальных условий, которыми были: добрый мир с Францией, освобождение Комнина и его дочери, вассальная присяга императору, от которого отныне как от сюзерена он принимал свою державу. Выезд Ричарда назначен был на январь 1194 года.

Однако вновь наступившие осложнения внутри империи замедлили освобождение Ричарда. Таинственное убийство льежского епископа, с которым враждовал император, вызвало заговор ряда имперских князей, которые втягивали в него и Ричарда и, во всяком случае, рассчитывали на его поддержку после его освобождения. Эти обстоятельства были, по-видимому, главной причиной новых колебаний императора, решившегося исполнить данное слово не раньше, чем Ричард обещал сделать все, от него зависевшее, чтобы повлиять на князей-заговорщиков и примирить их с императором. К этой основной, надо полагать, причине колебаний присоединились новые воздействия на Генриха из Франции, о которых стало широко известно и которые отразились в большинстве современных (в особенности дружественных Ричарду) хроник очень элементарным объяснением причин новой задержки пленника. Не искажая, очевидно, самого факта, но придавая ему слишком исключительное

значение, они рассказывают, что, когда все было улажено и поручители с обеих сторон приняли на себя ответственность за своевременное выполнение договора, в этот момент явились послы от Филиппа и Иоанна с новыми предложениями. Они давали 50 тысяч марок от французского короля и 30 тысяч от Иоанна, с тем чтобы император не выпускал Ричарда хотя бы до Михайлова дня (конец сентября), или, если императору угодно, они предлагали по тысяче фунтов серебра за каждый лишний месяц плена, наконец, 150 тысяч за год или за выдачу пленника Филиппу.

«Вот как они его любили!» «Император поколебался и задумал отступить от договора из жадности к деньгам».

Письма брата и Филиппа были показаны Ричарду. Отчаиваясь в освобождении, он обратился к ряду немецких церковных и светских магнатов, бывших поручителями императора при договоре.

«И смело вошли они к императору, и сильно негодовали на него за жадность, с какой он готов был так бесстыдно нарушить договор».

79

«Так наконец они добились, что император решился отпустить пленника»,

и его поручители, приняв заложников и часть денег, передали Ричарда его матери Элеоноре. Англии и анжуйской Франции пришлось тяжело расплатиться за выкуп короля, как ранее она расплатилась за его поход.

Быть может, в начавшихся сборах уже предназначались известные доли на новый поход... Во всяком случае, первую мыслью Ричарда после освобождения была мысль о Сирии.

«В сам день выхода на свободу он отправил гонца в Сирию к Анри Шампанскому и другим христианским князьям, возвещая им о совершившемся и обещая, что, как только бог даст ему отомстить за обиды и утвердить мир, он явится в установленный ранее срок на помощь Святой земле».

Но сроки плохо были рассчитаны Ричардом. Война между ним и Филиппом только начиналась.

«Берегитесь! — писал последний своему ученику Иоанну Безземельному. — Дьявол выпущен на свободу!»

Филипп понимал, что в долгой борьбе с анжуйской державой французского сюзерена теперь ждал самый тяжелый ее период. Если двадцать пять лет назад, когда отцу его удалось вовлечь всех детей Генриха в войну против старого Плантагенета, весы этой борьбы стали было склоняться в пользу капетингской Франции, если по смерти первого сына Генриха Филипп искусно интриговал против Генриха и Ричарда вместе с третьим сыном, Жоффруа Бретанским, если в конце 80-х годов — на этот раз в союзе с Ричардом и Иоанном — он победоносно провел войну против их отца, загнав его в могилу Фонтевро, если, наконец, в будущем его ждала решительная победа при Бувине, где он лишил последнего принца из этой семьи, Иоанна, всякой опоры на материке и престижа в Англии, то ведь этого будущего он не мог предвидеть в 1194 году, а прошлое не могло его успокоить в грозной тревоге: с освобождением Ричарда перед ним стоял противник настолько могущественный, что вся долгая работа Капетингов могла оказаться бесплодной перед ураганом его яростной энергии и мстительности. В войне последовавших долгих пяти лет (1194—1199) были моменты, когда единственный сын Людовика VII должен был чувствовать, что капетингский трон качается. На этот раз против него было слишком многое. Заручившись «вассалитетом» Ричарда, сам

Генрих стал его союзником; положение еще улучшилось

80

для Ричарда, когда за смертью Генриха в 1198 году императором был избран его племянник — Оттон Брауншвейгский.

Тогда, в свою очередь оценив перемену фронта, «юный брат» Ричарда также изменил Филиппу и перешел на сторону его соперника. Теперь против Филиппа — и косвенно за Ричарда — вставали могучие восточные вассалы Капетинга, встревоженные его агрессивной политикой. Претендент на фландрское наследство Балдуин IX, так же как и правительства фландрских городов, вступил в борьбу с Филиппом. Нормандия, за полвека уже привыкшая к власти Плантагенетов, не хотела принимать гарнизонов Филиппа в стены своих городов. Наконец, сам Ричард со свойственной ему находчивостью, предвосхищая на рубеже XIII века методы войны итальянского Ренессанса и пренебрегая феодальными ополчениями, организовывал целые наемные армии, во главе которых стояли искатели приключений Меркадье, Лувар, Алге, душой и телом преданные отважному и щедрому вождю. Воспоминаниями из походов викингов отзываются быстрые, как ураган, марши этих наемных дружин

«из Аквитании в Бретань и из Бретани в Нормандию».

Они опустошают на своем пути все,

«не оставляя собаки, которая лаяла бы им вслед».

Они над окристаллизовавшимся, отчасти замиренным и вошедшим в известные рамки феодализмом XII века создают как бы новый пласт подвижного и дикого военнотруженического быта, овладевая замками прежних господ, раскидывая на целые области свои военные лагеря — военную угрозу деревни и купеческой ярмарки.

«Я, Меркадье, слуга Ричарда, славного короля Англии... служивший верно и отважно в его замках... всегда подчиняясь его воле и скорый в выполнении его повелений, я стал дорог этому великому королю и им поставлен во главе его армии».

Напрасно Филипп пытался, подражая своему страшному сопернику, противопоставить его наемным шайкам своих, и Меркадье — Кадока. Организация военного авантюризма не была его ремеслом. Ему приходилось всюду отступать перед Ричардом. В битве при Фретеваде он потерял свои архивы и свою казну. В битве между Курселем и Жизором он бежал, преследуемый Ричардом,

«точно голодным львом, почуявшим добычу»;

он едва-едва не был взят в плен; и у самых ворот Жизора, куда он спасался, с высоты подломившегося под тяжестью беглецов моста он упал

81

в волны Эпты

«и напился ее воды»,

а два десятка рыцарей, бывших с ним, нашли в ней свою могилу. В конце 1198 года

«Ричард так его прижал, что он не знал, куда повернуться: он вечно находил его перед собою».

Тогда Филипп обращается к посредничеству папы. По его просьбе легат Иннокентия III Петр Капуанский съезжается с Ричардом в январе 1199 года, чтобы поговорить о «прочном

мире». Но на какой базе возможен был прочный мир? Ричард требовал восстановления всего, что захватил Филипп во время его пребывания в Сирии и в плену:

«Не будет он владеть моими землями, пока я держусь на коне. Можете ему это сказать!»

Но добиться этого не обещает кардинал.

«Можно ли заставить человека вернуть все, что удалось ему захватить?.. Вспомните, какой грех совершаете вы этой войной. В ней гибель Святой земли... Ей грозит уже конечный захват и опустошение, а христианству конец».

Король склонил голову и сказал:

«Если бы оставили в покое мою державу, мне не нужно было бы возвращаться сюда. Вся земля Сирии была бы очищена от язычников...»

Быть может, напоминание о Сирии было главным мотивом, заставившим в конце концов Ричарда согласиться на мир, точнее, на пятилетнее перемирие.

Попытка выторговать у Ричарда пленного епископа Бове привела только к гневной вспышке холерического короля:

«Он взят был не как епископ, но как вооруженный рыцарь, с опущенным шлемом. Стало быть, за этим явились вы сюда? Не будь у вас другого поручения, сам римский двор не оберег бы вас от оплеухи, которую вы могли бы показать папе на память обо мне... Кажется, папа смеется надо мною?.. Он не пришел ко мне на помощь, когда, находясь на службе у Господа, я был взят в плен; а вот теперь он заступает передо мною за разбойника, тирана, поджигателя... Бегите вон отсюда, предатель, лжец, плут, симоньяк *28. *Симоньяк — занимающийся симонией, т.е. продажей церковных должностей.* — Б. К. *! Устройтесь так, чтобы не попадаться мне на дороге».

Такими словами напутствовал Ричард парламентаря мира. Впрочем, и сам мир им принят был на условиях крайне тяжелых. Кроме очень немногих замков Оверни и Нормандии, вся анжуйская держава должна была быть восстановлена. Филипп обязывался стать союзником Оттона и женить сына на племяннице Ричарда Бланке Кастильской.

82

Кольцо владений Плантагенетов вновь плотно смыкалось, сцепляясь с дружественными им политическими союзами, вокруг владений парижского короля. На этот мир — до лучших времен — Филипп должен был согласиться, оставляя вдобавок в руках Ричарда своих друзей и союзников.

Рассчитывал ли действительно Ричард, что этот мир будет прочным, что он даст ему возможность вторично собрать силы для нового предприятия на Востоке? Трудно было бы ответить на вопрос, какими планами занята была голова Ричарда в тот короткий промежуток в несколько недель, которые отделили заключение этого мира от случайности, внезапно прервавшей пеструю игру его жизни. Из хроник очень трудно сделать определенные выводы. На этот счет мы знаем, что Ричард отправился в Аквитанию, чтобы усмирить непокорного лиможского виконта Адемара V. Геральд Камбрезийский определенно говорит, в чем заключалась вина этого виконта. Ричард подозревал его в утайке половины сокровища его покойного отца и хотел заставить его выдать неправильно присвоенное. Недружелюбные Ричарду писатели готовы объяснить эту странную экспедицию, предпринятую немедленно после заключения мира в тяжелой и напрягающей войне, мотивами столь характерной для него, по их мнению, «жадности». Но если мы вспомним, что все предшествующие известные нам ее проявления были подготовкой к каким-то новым большим усилиям, что первая погоня за казною отца, ограбления Сицилии и Кипра совершились ввиду крестового похода, то мы

можем предположить, что та же мысль побудила Ричарда отправиться в поиски за лиможским золотом. Со времени беседы его с Петром Капуанским, которая так сильно уколола его напоминанием о Сирии, мы не имеем, правда, никаких указаний на то, чтобы он возвращался к мысли о походе.

Но мы не можем не считать случайным это умолчание, ища более последовательного объяснения его экспедиции в Аквитанию. Если мы правы в наших предположениях, Ричард вновь исследовал свою анжуйскую державу как питательную площадь будущей войны на Востоке и собирал средства на путь за моря. Ему было сорок два года, когда он заключил мир с Филиппом,

«отомстив обиды своим врагам».

Политические комбинации на Западе были для него гораздо более благоприятны, нежели в первом походе. Они были также го-

83

раздо более благоприятны в Сирии, потому что с 1193 года не было в живых Саладина и его наследство оспаривалось в борьбе между делившими его братьями и семнадцатью сыновьями. Немецкий поход 1197—1198 годов за смертью вождя Генриха VI сошел на нет. Ввиду этих фактов представляется довольно правдоподобным, что Ричард готовил силы именно для похода на Восток, потому что экспедиция, оборванная так несчастливо почти у самых ворот Иерусалима, казалось, могла — в лучшей обстановке — вернуться к своему завершению. Представлялось бы более или менее естественным, если бы граф Пуатье искал базы для него именно здесь, в своей ближайшей «природной» сеньории.

Но здесь, в наследственной, «материнской» земле в соответствии с трагической иронией всей его жизни Ричарда стерегла та случайность, которая столько раз нависала над ним и которой он так «чудесно» избежал

«в безводных пустынях Сирии и в безднах, грозного моря».

«Пришел король Англии с многочисленным войском и осадил замок Шалю, в котором, так он думал, было скрыто сокровище... Когда он вместе с Меркадье обходил стены, отыскивая, откуда удобнее произвести нападение, простой арбалетчик, по имени Бертран де Гудрун, пустил из замка стрелу и, пронзив королю руку, ранил его неизлечимой раной *29. *Очевидно, отравленной стрелой.* *. Король, не медля ни минуты, вскочил на коня и, поскакав в свое жилище, велел Меркадье и всему войску атаковать замок, пока им не овладеют...»

«А когда замок был взят, велел король повесить всех защитников, кроме того, кто его ранил. Ему, очевидно, он готовил позорнейшую смерть, если бы выздоровел. Ричард вверил себя рукам врача, служившего у Меркадье, но при первой попытке извлечь железо тот вытащил только деревянную стрелу, а острие осталось в теле; оно вышло только при случайном ударе по руке короля. Однако король плохо верил в выздоровление, а потому счел нужным объявить свое завешание».

Королевство Англии, все земли, замки, три четверти сокровища и верность своих вассалов он завещал (так многократно его предавшему) брату Иоанну; свои драгоценности — племяннику, императору Отгону; остальную часть сокровища — слугам и беднякам. В эти послед

84

ние минуты овладел им столь для него характерный порыв великодушия.

«Он велел привести к себе Бертрана, который его ранил, и сказал ему: „Какое зло сделал я тебе, что ты меня убил?“ Тот ответил: „Ты умертвил своею рукою моего

отца и двух братьев, а теперь хотел убить меня. Мсти мне, как хочешь. Я охотно перенесу все мучения, какие только ты придумаешь, раз умираешь ты, принесший миру столько зла". Тогда король велел отпустить его, говоря: „Смерть мою тебе прощаю..." Но юноша, *30. *Так продолжает цитируемый хроникер, Роджер Ховденский, словами какого-то не названного им латинского поэта.* *

Ставши у ног короля, затаил выражение угрозы;
Смертной просил для себя стали с надменным лицом.
Понял король, что желает тот кары, прощенья страшится.
„Жизнь, — он промолвил, — принять ты от нашего дара
не хочешь?
Будь же — в память мою — надеждой в бою
побежденным"».

«И, развязав оковы, пустил его, и король велел дать ему сто солидов английской монеты... Но Меркадьё без его ведома снова схватил Бертрана, задержал и по смерти Ричарда повесил, содрав с него кожу...»

«А умирающий король распорядился, чтобы мозг, кровь и внутренности его были похоронены в Шарру, сердце — в Руане, тело же — в Фонтевро, у ног отца...»

«Так умер он в восьмой день апрельских ид, во вторник, перед вербным воскресеньем. И похоронили его останки там, где он завещал».

Обстоятельный биограф Ричарда Роджер Ховденский, установивший с большой точностью в своей «хронике» этапы его жизненного пути, собрал более полдюжины эпитафий, появившихся после его смерти. В ее текст он занес с одинаковою добросовестностью похвальные слова, как и злобные памфлеты.

Один, записывает Роджер, так сказал о его кончине:

«Муравей загубил льва. О горе! Мир умирает в его погребении».

Другой — так:

«Жадность, преступление, безмерное распутство, гнусная алчность, неукротимая надменность, слепая похотливость дважды пять лет процарствовали (в его лице) . Их низверг ловкий арбалетчик искусством, рукою, стрелой».

85

А третий:

Его доблесть не могли утомить бесчисленные подвиги;
Его пути не могли замедлить препятствия:
Перед ним бессилен шум гневного моря,
Пропасти низин, крутизны высоких гор...
Каменная суровость скалистых утесов.
Его не сломила ни ярость ветров, ни пьяная дождем туча,
Ни туманный воздух, ни грозный ужас громов...

86

VII. РИЧАРД В ИСТОРИИ И ПЕСНЕ

Судьба поставила Ричарда в центр событий, где его личность высказалась в выигрышном свете. Его эффектные качества сверкнули в них всем богатством граней, рассыпаясь в большинстве современных ему сознаний отблесками славы. Его дурные свойства и дела были большею частью прощены и забыты близкими к нему поколениями. В этой славе, как и в этом забвении, следует, конечно, учитывать, что тот, кто был особенно глубоко и больно ушиблен отталкивающими углами натуры Ричарда, поневоле промолчал. Промолчали сотни провинившихся солдат и матросов, которых он вешал в Мессине и топил по пути к ней, тысячи пленных турок, которых он обезглавил у Аккры, крестьянин, мимо жизни, хозяйства и чести которого, шел разрушительный смерч его авантюристских банд, хотя и не вполне остался безгласен мелкий аквитанский дворянин, жену и дочь которого он насиловал, и лондонский и руанский буржуа, разоряемый его финансовой политикой. Правда, после десятилетнего шумного царствования пришел час Немезиды, и

«умер король Ричард», «лев от укуса муравья»

— от стрелы, пущенной арбалетчиком одного из пуатевинских замков. Смиренной монахине принадлежит та злая надгробная эпитафия, которая в лице Ричарда клеймит

«жадность, распутство и жестокость, десять лет процарствовавшие на его престоле».

Таким образом, обиженный в конце концов отметил за себя и сурово судил короля Ричарда. Однако эти голоса не определили репутации его в близкой его времени истории. Они были заглушены эпической трубой хроникеров и «модуляциями» трубадуров не только для тех кругов, где жил и блистал Ричард и где о нем сохранилась полная изумления и восхищения память. Для более неопределенно-широких

87

кругов, далеких от соображений и расчетов военной славы, магическое имя Иерусалима, сияние Святой земли были достаточно ярки, чтобы облечь ореолом их паладина, каков бы ни был практический результат его деятельности в Палестине и каковы бы ни были его счета с этими неопределенно-широкими кругами дома. Происходило это, несомненно, отчасти и оттого, что их социальное и политическое сознание было смутно и за отсутствием собственной исторической памяти они жили чужою.

Во всяком случае, большинство тех хулителей Ричарда, которых Геральд Камбрезийский называет «лающими собаками», вербовались не столько из людей, несправедливо им обиженных или измученных, сколько из мелких уязвленных самолюбий сильных его завистников, которым колола глаза его слава, кого давила его щедрость и задевала его надменная, властная повадка. Следует, однако, заметить, что в самом официальном капетингском лагере Ричард имел далеко не сплошь плохую литературу. Крестоносная хроника, где бы она ни создавалась — в Руане, Камбре, Труа или самом Париже, даже самом Сен-Дени, эта хроника, имевшая собственные традиции и идеалы, нередко способная подняться выше влияний того или иного придворного круга, гордилась могучим французским принцем, после десятилетий бесславия и бездействия вновь заставившим Запад и Восток говорить о силе латинского меча.

Однако же, насколько эта доминирующая фигура третьего крестового похода вмещает в себя определившиеся в идеале крестоносной литературы черты

«атлета Христова», «воинственного подвижника Господа ради»?

Она плохо гармонирует с ним у тех хроникеров, от которых мы так много слышали о темных сторонах и о темных делах его жизни: безрассудной жестокости, надменных причудах, любовных похождениях, цинических выходках, о злых сарказмах, ругательствах и

кошунствах. Они зачастую прямо враждебно, иногда трезво и холодно подошли к нему и, зная, в какой обстановке и семье он рос, не ждали от него воплощения божия паладина, Готфрида Бульонского третьего похода. Наиболее благоразумные из них, которые не хотели непременно видеть в его отце дьявола, а в его матери воскресшую Мелузину, во всяком случае, чувствовали в обоих глубоко и часто по-новому мирских людей. Анри II, всю жизнь сражавшийся с церковью и ее слугами, усвоив-

88

ший себе в отношении их соответствующий резкий и насмешливый стиль, научил кое-чему в этом смысле и сына. Для Ричарда не могли пройти даром также его постоянные связи с Провансом, где ученые-натуралисты и медики, еретики и трубадуры, отразившие в своей поэзии веселую легкость религиозного индифферентизма и жизнерадостную чувственность юга, были в большей чести, нежели правоверные богословы и религиозные поэты.

Уже в первом походе Раймунд Тулузский и его друзья изумляли спутников своим трезвым практицизмом, своим религиозным вольномыслием. Эти черты часто поражают в Ричарде. Геральд Камбрезийский, не называя прямо имени Ричарда, дает понять, что именно его он имеет в виду, когда после похвал приличной и благообразной повадке французских королей рассказывает, как ругаются и богохульствуют *principes alii* *31. *Другие государи (лат.)*. *:

«В своей речи они непрерывно прибегают к ужасным закланиям, клянутся божьей смертью, божьими глазами, ногами, руками, зубами, божьей глоткой и зобом божьим».

Это не дает еще основания видеть в сыне Анри II и Элеоноры *esprit fort* *32. *Вольнодумец (франц.)*. * XII века. Хотя Ричард в Аквитании, когда это ему нужно, ограблял ризницы и разбивал и переплавлял предметы церковной утвари, особенно если они были пожертвованы его отцом, все же он из духа противоречия к этому нечестивому отцу хочет быть благочестивым. И если Анри II повинен в убийстве святого Фомы, Ричард делает его своим специальным молитвенником. Одушевление, наполняющее его, когда он принимает крест, несомненно, переживается им как религиозное одушевление. Но Геральд Камбрезийский, высоко похваляющий его за то, отмечает с сожалением, что у него нет ни капли смирения и что он был бы всем хорош, если бы больше полагался на бога и меньше верил в свои силы, если бы свои замечательные подвиги относил к Господу всячески, чистой душой обуздав стремительность своих желаний и свою надменность. Это, конечно, только оттенки, но очень характерные, являющиеся знаменем его времени и среды, следствие обращения в кругу очень разномыслящих людей, проявление каких-то очень свободных привычек души. Ричард борется с «божьими врагами» на Востоке, но он не только позволяет себе уважать Саладина, любить его брата и общаться с ним, обмениваясь дарами

89

и угощениями: он с большой легкостью предложил султану столь поразивший воображение людей Запада проект — выдать сестру свою Иоанну за Сафадина и предоставить им царствовать в Иерусалиме, сняв, таким образом, спор между исламом и христианством... Можно сказать, во всяком случае, что над душой Ричарда задерживающая сила традиции имеет меньшую власть, нежели этого можно было бы ждать от человека его времени. Какая-то безграничная свобода размаха, постоянный мятеж свойственны его причудливой натуре. Ричард не есть *esprit fort* уже потому, что мысль — не его «специальность». Он прежде всего человек действия, и его мир есть мир деяний (*Welt der Thaten*), его крылья — это «крылья могучей воли». И в их шорохе почти непрерывно слышим мы ликующие звуки Прометеева гимна:

«В мире много сил великие, но сильнее человека нет в природе ничего. Мчится он, непобедимый, по волнам седого моря, сквозь ревущий ураган...»

Таков Ричард, каким его изобразили враги и друзья.

На первом плане в этих изображениях стоят всем в глаза кидавшиеся «доблести» Ричарда: деятельная энергия, мужество, настойчивость, находчивый гений организации, великодушная щедрость. Геральд говорит о них с обычной своей определенностью:

«чрезвычайная бодрость и отвага, огромная щедрость и гостеприимство, великая твердость».

По-своему Ричард был очень «трудолюбивым», очень деятельным принцем, непрерывно «зарабатывавшим» свою власть то против интриг отца, то против нападения братьев, то против козней парижского своего друга и сюзерена, то против восстания вассалов. Он собственными руками сносил камни для укреплений в Сирии, сам держал ночную стражу у Аккры, собственным мечом зарубил десятки сарацин, терпел лично все бедствия и опасности со своим войском на море и в пустыне, в холод и зной. Надо сказать вообще, что всюду, где бы мы ни встречались с далеко раскидавшейся по свету семьей нормандских династий, мы не найдем в них «ленивых королей». Их пиратства, завоевания, государственное строительство, «книжки страшного суда» и «шахматные доски», сицилийская канцелярия и нормандская разверстка земли, соборы Палермо и твердыни Мон-Сен-Мишель, первый и третий крестовые походы с их героями Бозмундом и Ричардом — во всем страшная энергия, через край бьющая, кипучая сила жизни. В них подлинные образы этого деятельного, подвиж-

90

ного периода средневековья. Ричарду дано было отразить некоторые сильные его черты. *Vailland roi* — «бодрый король», так любит называть его Амбруаз, *le preux roi* — «доблестный», *le non-pareil* — «бесподобный».

«Нет во всем мире такого воина». «Как овцы перед волком, разбегаются перед Ричардом его враги».

Ричард в зеркале Амбруаза не вполне отражает реального, но это отражение полно жизни и «односторонней» правды, как полна их «История священной войны», хотя и она весьма своеобразно отражает действительную историю. Перед нами поэтическая правда истории и ее героя, то лучшее, что было или могло быть в ней и в нем, в изображении, полном простодушной жизни и нежной, прозрачной красоты.

Я думаю, во всей литературе средних веков нет поэтического произведения, которое чаще заставляло бы вспоминать о величественно-простой, четкой живописи гомеровских поэм, чем эта Илиада XII века. Более чем в 12 тысячах стихов «Истории священной войны» — ее точнее бы назвать «Песней о Ричарде» — нет ни одной строчки, которую читатель предпочел бы отбросить как скучную, мертвую или лишнюю, которая не двигала бы либо действие, либо живопись, либо характеристику. Не нужно никаких специальных критических исследований, чтобы убедиться, что если как целое (очень стройное и пропорциональное целое) поэма была сконструирована и обработана впоследствии, на досуге, то творилась, писалась она по пути: на корабле Ричарда, в виду светившего его факела, в промежутках между штурмами стен и переходами в пустыне. Эту постоянную, неотвлекающуюся автопсию читатель угадывает непрерывно, когда видит в изображении поэта картину

«четырех морей, которые, взаимно возбуждая друг друга, вступают в битву у острова Родоса»;

когда чувствует

«на спине холодное дыхание изменчивого ветра, который то становился ласковым к нам (*courtois pour nous*), то хватал сзади и гнал так быстро, что каждый из нас исполнялся ужасом перед пугающей бездной, какая нас окружила»;

когда вместе с автором вздрагивает от

«холодной сырости, под которой все начали хрипнуть, кашлять и страдать
опухольями ног и головы»,

или переживает «под пылью и зноем» впечатления «томящей жажды»; когда вместе с
ним подвергается нападению тарантулов и слышит

«страшный шум, какой по совету одного мудреца поднимают в лагере, чтобы
выгнать эту пакость,

91

стуча в шлемы, железные шапки, бочонки, седла, чаши, котлы и печи».

Амбруаз всегда живописно прост и трезво реалистичен, рассказывает ли о триполийском
графе, «у которого отвисла губа»; о проводке застоявшихся коней, которые совсем отяжелели
и были обессилены и оглушены, выйдя на берег после месячного пути; о первой ветряной
мельнице, построенной в Сирии немцами, на которую

«с изумлением и страхом смотрели враги Господа»;

об обрезанных косах турок, знаке их траура; о весеннем посеве злаков, предпринятом
крестоносцами, чтобы иметь возможность варить себе похлебку; об оливковых и миндальных
рощах, где расположился христианский лагерь. И если он, очевидно, что-то путает, когда
говорит о

«штанах Магомета» как о «знаке, изображенном на турецких знаменах»,

то с несомненным знанием дела он предлагает читателю отличать в женском населении
лагеря от непотребных девок тех

«добрых старушек, работниц и прачек, которые мыли белье и головы
крестоносцев, а в вычесывании блох не уступили бы обезьяне».

«Дни проходили, и случалось много разных вещей» (*comme les jours passaient, il arrivait
bien des choses*) — этим многократно повторяющимся в сирийской части его поэмы припевом
автор вводит в разнообразные эпизоды долгих странствований и осады. В их ряду немало
удивительных для Амбруаза событий, «чудес». Но, даже изображая то, что представляется ему
несомненным чудом, он не подводит его под чудотворный шаблон, не покрывает той густой
позолотой священного восторга и стереотипного выражения, которая скрывает бы краски
жизни. Простодушные, рассказанные им чудеса, так же как и обычные анекдоты, живо вводят
в повседневную жизнь лагеря:

«Был в турецком лагере метательный снаряд, причинивший нам много вреда.
Он кидал камни, которые летела так, точно имели крылья. Такой камень попал в
спину одному воину. Будь то деревянный или мраморный столб, он был бы разбит
надвое. Но этот честный храбрец даже его не почувствовал. Так хотел Господь. Вот
поистине сеньор, который заслуживает того, чтобы ему служили, вот чудо, которое
внушает веру!»

Каково, прибавим, Ричардово воинство, в котором, хотя бы в качестве чудесных
исключений, попадались честные храбрецы, не чувствовавшие ударов камня, от которых
разбился бы надвое каменный столб!

«Дни про-

92

ходили, и случалось много разных вещей. Случилось, что некий рыцарь пристроился к рву, чтобы сделать дело, без которого никто не может обойтись. Когда он присел и придал соответствующее положение своему телу, турок, бывший на аванпостах, которого тот не заметил, отделился и подбежал. Гнусно и нелюбезно (*discourtois*) было захватывать врасплох рыцаря, в то время как тот был так занят». Турок уже готов был пронзить его копьем, «когда наши закричали: „Бегите, бегите, сэр!..“ Рыцарь с трудом поднялся, не кончив своего дела. Взял он два больших камня (слушайте, как Господь мстит за себя!) и, бросив их, наповал убил турка. Захватив вражеского коня, он привел его в свою палатку, и была о том большая радость».

Есть в распоряжении Амбруаза и более изящные, нежные и строго-печальные воспоминания осады. Одной из важных задач осаждавших было заполнить рвы. Для этой цели со всех сторон сносились камни.

«Бароны привозили их на конях и выючных животных. Женщины находили радость в том, чтобы притаскивать их на себе. Одна из них видела в том особое утешение. На этой работе, когда собралась она свалить тяжесть с шеи, пронзил ее стрелой сарацин. И столпился вокруг нее народ, когда она корчилась в агонии... Муж прибежал ее искать, но она просила бывших тут людей, рыцарей и дам, чтобы ее тело употребили для заполнения рва. Туда и отнесли ее, когда она отдала богу душу. Вот женщина, о которой всякий должен хранить воспоминание!»

Но живее и ярче всего среди этой многокрасочной картины, среди грозной воинственной драмы фигура главного актера — героя, любимца простодушного поэта,

«доблестного, великодушного, верного Ричарда»,

льва пустыни, орла высот и вихрей, меча христианской Сирии. Почти резвым мальчиком в безудержновеселой отваге изображает его Амбруаз на Кипре. Ричард гонится за императором, который жестоко раздражил его своим вышеупомянутым «поносным» ответом (*Troupt sire!*). Он загнал своего коня

«и по пути схватил коня или кобылу, я уже не знаю, что это было; у нее позади седла болтался мешок, и поводья были веревочные. В одну минуту был он в седле и крикнул подлому и коварному императору: „Ну-ка, император, поди сюда, скрести копье со мною!“ Но тот уклонился. К утру греки успели собрать большие силы, и император, поднявшись на гору, смотрел, как его люди осыпали стрелами войско Ричарда, которое не двигалось с места. К королю подошел

93

вооруженный клирик Гюг-де-ла-Мар, который сказал ему тихо: „Сир, уходите: их силы огромны“. — „Сир клирик, — возразил ему король, — во имя Господа и его матери занимайтесь вашим писанием и не путайтесь в схватку. Рыцарские дела предоставьте нам“. В самом деле около Ричарда было не больше сорока или пятидесяти рыцарей. Но великий король бросился на врага быстрее, чем падающая молния, решительнее, чем ястреб, кидающийся на жаворонка... Он привел в полное смятение греков, и, когда явились его люди в достаточном числе, они обратили их в полное бегство».

То же неукротимое мужество в схватках с сарацинами в Палестине. Вот он

«со стороны горы на своем кипрском Фовеле, лучшем коне, какого только видели на свете, совершает такие подвиги, что смотреть удивительно».

Вот он в сражении у Арсуфа, где турки

«стеной напирают на крестоносцев».

Более двадцати тысяч налегло на отряд госпитальеров. Великий магистр, брат Гарнье де Нап, скачет галопом к королю:

«Государь, стыд и беда нас одолевают. Мы теряем всех коней!»

Король отвечает ему:

«Терпение, магистр! Нельзя быть разом повсюду».

Но вот войско ободрилось для атаки,

«и, когда увидел это король, не дожидаясь больше, он дал шпоры коню и кинулся с какой мог быстротой поддержать первые ряды. Летя скорее стрелы, он напал справа на массу врагов с такой силой, что они были совершенно сбиты, и наши всадники выбросили их из седла. Вы увидели бы их притиснутыми к земле, точно сжатые колосья. Храбрый король преследовал их, и вокруг него, спереди и сзади, открывался широкий путь, устланный мертвыми сарацинами».

Амбруаз с удовлетворением отмечает здесь выдержку Ричарда до нужного момента. Но король счастливее всего, когда может лично вмешаться в схватку — *recevoir et porter de beaux coups*, пережить то «упоение в бою», которое так основательно забыто мирными культурами. Оно заставляет Ричарда постоянно пренебрегать своими обязанностями полководца ради увлечения личным подвигом. Слишком быстро он летит вперед, и если в тех десятках стычек, в которые он ввязывался, не дожидаясь своих, он не погиб, а возвращался невредимым, хотя и

«колючим, точно еж, от стрел, уткнувшихся в его панцирь»

(так вспоминали о нем в Сирии еще полвека спустя, когда эти сказания собирал Жуанвиль), то этим он обязан панике, которую наводил одним своим видом, но также и удивительному

94

случаю или, по определению Амбруаза, чуду, которые его хранили. В тревожные ночи угрожающих нападений он спал

«в палатке за рвами, чтобы тотчас поднять войско, когда будет нужно, и, привычный к внезапной тревоге, вскакивал первым, хватал оружие, колот неприятеля и совершал молодечества (*des prouesses*)».

В стычке при Казаль-де-Плен Ричард быстро разогнал сарацинский отряд, потому что турки, хорошо знавшие короля Ричарда, его быстроту и его манеру сражаться, завидев его, разбежались окольными дорогами... Но король дал шпоры своему коню, чтобы догнать восемьдесят турок, бежавших к Мирабелю. В этот день он скакал на своем Фовеле, который нес его так быстро, что нагнал сарацин, и, прежде чем свои к нему успели, он уже убил под неприятелем нескольких коней. Амбруаз особенно любит его в минуты тех великодушных порывов, когда этот совершенный в его глазах витязь, который

«страха не знает»,

в условиях самой страшной опасности кидается на выручку своих. Турки нападают на крестоносцев, когда они заняты работой у стен Казаль-Мойена.

«Битва была в самом разгаре, когда прибыл король Ричард. Он увидел, что наши вплотную окружены язычниками. „Государь,— говорили ему окружающие,— вы рискуете великой бедой. Вам не удастся выручить наших людей. Лучше пусть они

погибнут одни, чем вам погибнуть вместе с ними. Вернитесь!.. Христианству конец, если с вами случится несчастье". Король изменился в лице и сказал: „Я их послал туда. Я просил их пойти. Если они умрут без меня, пусть никогда не называют меня королем". И дал он шпоры лошади, и отпустил ее узду...»

Битва была выиграна этим рискованным поступком.

«Турки бежали, как стадо скота... Так прошел этот день».

Если удача — мерило верности тактики, а в войне трудно найти другое мерило, то тактика личного геройства долго оправдывала себя в войне с турками. Амбруаз не скрывает, что и вокруг Ричарда было немало людей, которые ее осуждали. Однажды он вмешался в самую гущу турок; они почти держали его в руках, готовясь схватить. Каждому хотелось сделать это; но никто не решался, боясь удара его меча. В эту минуту один из его верных искусно выдал себя за короля и был уведен в плен. Тогда окружающие стали говорить:

«Государь, ради бога, не ведите себя впредь так. Не ваше дело пускаться в такие приключения. Подумайте о себе и о христианах. У вас нет недостатка в храбрецах. Не ходите один в по-

95

добных случаях. От вас зависит наша жизнь и смерть... Если голова упадет, члены не могут жить».

Многие давали ему подобные советы, но всякий раз, когда он знал о сражении — а его нельзя было скрыть от Ричарда, — он кидался на турок.

Хулители Ричарда упрекали его в «вероломстве». Если он проявлял его в отношении врага, то это, очевидно, только соответствовало этике борца. Ни один из них не мог ему поставить в вину предательство друга. Мы помним, после каких событий он встал против отца. После его смерти, однако, он проявил широкое великодушие к его верным сторонникам. За освобождение свое из германского плена он готов был отдать свое королевство, но наотрез отказался от «бесчестья» предательства Генриха Льва. Нужно думать, что не одно упрямство, но и чувство чести и верность данному слову заставили его до конца быть покровителем отставного иерусалимского короля. Из всех вождей, побывавших в Палестине в эпоху третьего похода, он один, по-видимому, действительно мучился мыслью измены данному обету.

«Верный, бесподобный Ричард».

Он для Амбруаза образ того идеального рыцаря, который отдает жизнь за товарищей в бою. Кто знает, не был ли в безнадежных условиях христианской Сирии этот метод личного геройства, принцип рыцарственного товарищества единственным условием кратковременного успеха? Он один, быть может, способен был выдвинуть и сплотить воинов, которые, в свою очередь, отдали бы жизнь за дело вождя. И кажется, что здесь, в Сирии, претворенный в кодекс рыцарских уставов, воплощается и живет завет древней северной дружины, как записал его в I веке римский наблюдатель:

«А когда дошло дело до битвы, стыдно вождю быть побежденным в доблести, стыдно дружине не сравняться доблестью с вождем. На всю жизнь бесчестие и позор тому, кто, пережив вождя, отступит из боя... Вожди сражаются за победу, товарищи — за вождя». *33. *Тацит. Германия, гл. 14.* *

На этой основной канве беззаветной отваги и верной товарищеской связи соратников «История священной войны» вышивает много узоров. Преданный, надежный, заботливый, делящий с армией счастье и несчастье — таким рисуется у Амбруаза «несравненный король». Войско остановилось лагерем около Соленой реки. Оно томится голодом. Некоторые убивают

коней и дорого

96

продают их на мясо. Голодная масса теснится вокруг. Король тотчас узнает о том, велит кликнуть клич: всякий, кто даст его агентам убитую лошадь, впоследствии получит от короля живую. И мясо явилось в изобилии.

«Все ели и получили по хорошему куску сала».

Добравшись в марте 1192 года до Аскалона, крестоносцы начинают восстанавливать его стены и башни.

«Король с обычным своим великодушием участвовал в работе, и бароны ему подражали. Всякий взял на себя подходящее дело. Там, где другие не являлись вовремя, где бароны ничего не делали, король вступался в работу, начинал ее и оканчивал. Где у них не хватало сил, он приходил на помощь и подбодрял их. Он столько вложил в этот город, что, можно сказать, три четверти постройки было им оплачено. Им город был восстановлен, им же он был потом разрушен».

В энергичном и суровом облике Ричарда Амбруаз охотно подмечает мягкие, сострадательные черты. Когда после первого неудачного похода на Иерусалим войско возвращалось по расплывшимся от ненастья дорогам, положение людей и выючных животных было самое печальное.

«Скотина ослабела от холода и дождей и падала на колени. Люди проклинали свою жизнь и отдавались дьяволу. Среди людей была масса больных, чье движение замедлял недуг, и их бросили бы на пути, не будь английского короля, который заставлял их разыскивать, так что их всех собрали и всех привели (в Раму)».

За картинами болезней и смертей следуют картины погребений. Вот поле после битвы при Арсуфе. Рыцари Госпиталья и Тампля ищут тело отважного Жака Авенского.

«Они не пили и не ели, пока не нашли его. И когда нашли, надо было мыть ему лицо; никогда не узнали бы его, столько получил он смертельных ран... Огромная толпа людей и рыцарей вышла навстречу, проявляя такую печаль, что смотреть было жалостно. Когда его опускали в землю, были тут короли Ричард и Гюи... Не спрашивайте, плакали ли они».

Это погребение происходило в дни, когда уже недалеко было время похорон всех надежд крестоносного войска третьего похода в Сирии. Тон Амбруаза становится все более траурным, проникнутым какой-то возвышенной резиньацией, и в такие же грустные сумерки точно уходит в ней образ его героя. В безмерной печали крестоносца, не смогшего завоевать Иерусалим, он пытается утешиться надеждой, что всем, кому дано было так много страдать, кому пришлось уме-

97

реть у запертых дверей земного Иерусалима, открыты будут сияющие ворота Иерусалима небесного. Он ни в чем не упрекает Ричарда. Там, в неведомом углу Франции, где он заканчивает свою «историю», душа его все еще живет за морем, над мраком и бурями которого Ричард поднял высоко факел своего корабля, чтобы светить крестоносцам, стремившимся в обетованную землю.

Мог ли деятель такой энергии и вождь с такою властью быть безразличным для истории и следует ли теперь, после пересмотра его разнообразных gesta *34. *Деяний (лат.)*. *, прийти без оговорок к той отрицательной оценке, какую дала ему новая историография в подавляющем большинстве своих суждений? Читатель, внимательно проследивший за предшествовавшим изложением, понимает, что этому суждению мы не противопоставляем диаметрально противоположное, но он мог заметить и под конец этого изложения сам

резюмировать весьма существенные оговорки к нему.

Казалось бы, суждение это напрашивается само собою. Ричард в истории явился образом войны, и его, подобно ей, приходится оценивать преимущественно как стихию смертоносную. Если в его воздействии на жизнь были положительные, организующие моменты, они направлены были на войну и в этом смысле были преимущественно талантливой организацией разрушения. Опустошение Аквитании ради единства анжуйской политики, опустошение капетингских сеньорий ради утверждения бесспорности державы Плантагенетов, разрушение Сицилии и Кипра ради завоевания Сирии, разрушение Сирии ради недостигнутой мечты об отвоевании Иерусалима... Кажется, дорога Ричарда устлана преимущественно трупами, точно путь какого-то исторического Аримана:

«Идет он по миру, великий, спокойный, и смерть ему мертвые дани несет, и
жертвы готовят кровавые войны, и путь поливает слезами народ».

Все поставленные им жизненные цели осуждены историей: англо-анжуйская власть через пятнадцать лет после его смерти выброшена с континента ко благу Франции, ко благу самой Англии, для которой ее поражение на материке и разрыв искусственной связи с ним открыли путь к свободе; Палестина не была им отвоевана; только что возведенные стены Аскалона «им же были разрушены», и Иерусалим остался в руках сарацин.

98

Но есть в этой перманентной войне, ставшей содержанием почти всей его жизни, одна особенность, которую следует учесть, прежде чем произносить окончательное суждение о «несравненном короле». Это была «любовь к дальнему», которая была ее слабостью и ее силой. Ричарду предшествовали века, где в мелкой, домашней борьбе, в глухом и мрачном взаимопоедании тратил свои силы феодальный мир. Неподвижные и низкие горизонты, которыми был сдавлен этот круг феодальной войны, раздвинулись предприятиями далеких «предков» Ричарда — норманнов — завоевателей Сицилии и Англии. В их экспедициях на восток и на юг, приведших их несколькими путями в Византию и Сирию, пусть даже одетых кровавым туманом войны, начиналась та сильная возвратная тяга к Средиземноморью, вплоть до восточных его берегов, которая выводила Запад из его глухой обособленности, до дня, когда на Клермонской равнине он весь призван был в дорогу. Однако обновление, которое сообщено было «дряхлеющему» миру огромным сдвигом, плодотворным процессом перемешивания культур, начавшимся в разных зонах Европы и Азии, видимым и слышимым переливанием потоков вселенской жизни, нуждалось ли оно вечно в грубой форме военной экспедиции для своего поддержания? Нужно ли было насильственно передвигать деньги и богатства Лондона и Руана в Сицилию, богатства Сицилии на Кипр и кипрские в Палестину, перевозить закованных в сталь людей и коней севера Европы на огромные пространства морей и суши, занимать доки Ла-Манша и Мессины сооружением сотен судов для того, чтобы, погубив две трети всего в Сирии, закончить относительно ничтожными результатами «соглашения» с Саладином, в то время как Венеция и Генуя, Пиза и Марсель уже сто лет направляли на Восток правильные купеческие караваны и содействовали движению потоков вселенской жизни на мирных путях?

Вопрос этот в значительной мере заключал бы в себе ответ, если бы не было нескольких фактов, о которых не следует забывать.

Странствия купеческих караванов в конце XII века только до известных пределов были мирными, и столкновения, какие им приходилось иметь на морях и на суше, постоянно напоминали о том, что хозяйственную свою деятельность человечеству этого века все еще приходилось обеспечивать и защищать вооруженною рукою.

99

Достаточно вспомнить хотя бы судьбу первых судов Ричарда у берегов Кипра.

С другой стороны, поведение Ричарда в Сирии глубоко несходно с поведением Готфрида и иных ему подобных, «прямых сердцем», напоминая гораздо больше поведение Бозмунда. Взяв вооруженною рукой Аккру и Яффу, он не только прислушивается, может быть даже слишком, к желаниям и соображениям пизанских купцов, но идет на самые смелые

комбинации стовора с Саладином. Латинская торговля все еще искала сени латинской крепости и защиты латинского меча. Ричард пытался дать то и другое и дал, как мог и умел. Иерусалим — так роковым образом слагалась судьба всего крестоносного движения — при этом оказывался забытым. Потому что и в этом случае Ричард не был Готфридом. И хотя его стремление вдаль для него самого могло формулироваться как искание «божия пути», но, несомненно, в его душе, норманна и провансальца, сына Анри II и Элеоноры, скептика и артиста, пела такая могучая музыка земных голосов, что в упоении этой музыки, в наполнявшей его жажде простора, безграничной земной дали, безмерной земной славы глохли покаянные молитвы паломника. Слишком многим мог он увлечься и слишком многое понять — от упоения бездны до трезвых соображений пизанского своего советника и красоты личности «языческого султана».

Поэтому во всем том движении, где был он такой заметной силой и в котором многое вело человечество к новым берегам, неверно было бы признать Ричарда отходящим, архаическим образом. Неверно было бы признать в воинственной форме, которою он зарабатывал для Запада восточный мир, а на самом Западе венчал Англию с Сицилией и Нормандию с Аквитанией, архаическую, отброшенную историей форму. Сами финансовые операции его как министра войны, смелые инженерные подвиги и кораблестроительные предприятия, его подвижные штаты и наемные армии обличают в нем человека какой-то новой поры не меньше, чем его сарказмы и песни. История взяла его как исполнителя одной из жестоких форм в своих предначертаниях. Но они вели не к прошлому, а к будущему. Этими оттенками мы хотели бы осложнить высказанное о нем суждение.

Остаться безразличным для истории он не мог, как не был им для чувства современного ему мира, в котором «одни его боялись, другие любили». Его фигуру прихо-

100

дится рассматривать менее всего в кругу истории его английской державы, а также не столько в истории англонормандско-анжуйско-аквитанского комплекса, сколько в отношениях всего западно-восточного мира, осененного крестом и полумесяцем. В нем развернулось его значение и проявилось все напряжение окружавших его симпатий и антипатий.

В подобных переживаниях исторических личностей много прихотливого. Их объекты так часто являются только стимулами, вызывающими и поощряющими творчество легенды, которая черпает богатство своего содержания из источников бесконечно более богатых, чем то, что смогло действительно вписаться в пределы отдельной личности. Но ведь не только в смысле их действительных определений интересуют нас «образы человечества». И, не ставя вопроса о мере совпадения с реальностью, мы среди многообразных отражений фигуры «несравненного короля» с особенно пристальным вниманием всматриваемся в то, где он запечатлелся с лицом при свете гаснущих звезд, обращенным к Сирии как образ высшей, доступной тогдашнему сознанию любви.

101

ПРИЛОЖЕНИЕ. ЭПИЛОГ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ

Мир стал иным, — как тот, который собирался под знаменем креста, так и тот, что жил под знаком полумесяца. Здесь невозможно воспроизводить образ всех тех изменений, которые произошли в социальной и личной психике и в которых иссякали источники крестоносного одушевления. Между первым и четвертым походами прошло в Европе могучее коммунальное движение. Несомненно, оно отчасти вызвано к жизни крестоносным [...].

Конец XII века видел утрату Иерусалима, но он оставит Европу в живом, полном надежд движении. Внимательнее присматривается к прежнему своему неприятелю христианский гость Сирии, — как, впрочем, давно уже присматривался он к нему в Испании и Сицилии. Не только хлопок и сахар Палестины, перец и черное дерево Египта, самоцветные камни и пряности Индии ищет и ценит он у своего иноверного соседа. Он начинает разбираться в том

культурном наследстве великого античного Востока, которого хранителем и передатчиком стал сарацин. Открывающийся мир не мог не ослепить своими красками, не подчинить своему обаянию мысль, пробужденную к восприятию необычайными потрясениями совершившегося. Это обаяние неизбежно должно было постепенно смягчать остроту столкновения двух культур. И если уже суровый Ричард Львиное Сердце обменивался любезностями с Саладином, этим истинным джентльменом ислама, — тем естественнее, что в 1228 году Фридрих II Гогенштауфен, ученик арабов, вовсе не может понять непримиримую позицию Григория IX. Все шире становится в западном обществе спрос на арабские географические карты, учебники алгебры и астрономии, глубже понимание красоты арабского зодчества, очарование арабской сказки и смысл «арабского» Аристотеля [...].

Латинское человечество недаром совершило свой трудный путь в Сирию. Начав с ненависти к чужому миру, чужому религиозному сознанию, оно кончило сближением и примирением с ним. Оно открыло в нем не только новые сокровища внешней культуры, оно открыло неведомый ему богатый мир научного и философского познания и с

102

«пути за море», — до нового поколения, которое, не обогащаясь ошибками отцов и достигнув его лет, пойдет по его следам.

Осязаемые результаты движения незначительны. Уже

«первый крестовый поход, — замечает французский историк Люшер, — который взбудоражил всю Европу и заставил трепетать Азию, привел к основанию нескольких латинских колоний на сирийском побережье, результат ничтожный, если сопоставить его с огромностью усилий. Да и его-то достигли для того, чтобы вслед за тем немедленно потерять. Прежде, чем Иннокентий III стал папою, две мусульманские державы, Дамасская и Каирская, после долгой и фатальной для ислама вражды, слились и вновь отвоевали Иерусалим. Все надо было начинать сначала».

В самых перебоях движения нет определенного закона. Установился обычай насчитывать восемь походов в два столетия крестоносной эпохи. В этом счете не приняты во внимание более мелкие промежуточные экспедиции, ни предприятия, которые еще какое-то время высылала Европа после века Людовика Святого. Может быть, этот ряд в восемь больших движений соответствует чередованию поколений? Это предположение оправдывается очень отдаленно. От первого похода, отправная точка которого в 1095 году, с его продолжением — походом 1101 года, проходит до второго (1147) почти полвека. Второй от третьего (1189 год и сл.) отделяет сорок лет. Затем, однако, не проходит и 15 лет, как папству удастся вызвать новое выступление. Однако четвертый крестовый поход (1204 год) с первых же шагов отклонился от «священного пути» в Палестину к завоеванию Константинополя. Его состав, исключительно почти рыцарский и патрицианский, его настроения ни в чем уже не напоминавшие восторгов крестоносной весны, показывают, что «время пошло наклон».

XIII век полон частых попыток, либо несчастливых, как походы детей, либо таких, где на бледном фоне угасшего энтузиазма масс, тем назойливее бросаются в глаза честолюбия светских и церковных интриганов и тем неприятнее поражает холодная дипломатия удачливых политиков (последние стадии похода 1217 года и поход 1228 года). Средневековый мир присутствует при невиданном зрелище, когда один вселенский глава его, император Священной империи, почти без крови и усилий, путем сговора с «неверными», добывает так

103

безнадежно потерянный и так некогда страстно желанный Иерусалим, а другой глава, римский папа, за это самое подвергает его анафеме; когда страна, где свершилось призвание апостола Петра, находится под интердиктом его наместника.

В дальнейшем же, среди того сплошного несчастья, каким были седьмой и восьмой походы, одна только фигура привлекает к себе внимание зрителя, сочувственное, но скорее исполненное высокомерной жалости, как и всякое явление, которое не ко времени, — это

фигура святого короля Франции, кого иные особенно трезвые его современники называли жалким ханжой, королем-святошей и «братцем Людовиком». На этом лице, но, кажется, только на нем одном, еще сияет запоздалый свет того одушевления, которое двигало крестоносцев на Восток.

На самом крестоносном движении историки обычно ставят точку в 1291 году. Подобные даты никогда не бывают точными. Крестоносное движение породило множество учреждений, организовало многие силы, которые не могли исчезнуть немедленно с последней потерей Иерусалима. В Ахее и на островах еще сохранились владения «Новой Франции». На Кипре, в Никозии более двух веков (до 1489 года — захвата венецианцами, у которых в 1571 году отняли остров турки) доживал царственный двор Иерусалима, с королями Лузиньянской династии во главе, с окружавшей их верной группой наших знакомцев, заморских баронов. Кажется, маятник времени остановился на Кипре Среди изменившегося мира живые обломки прошлого, *seigneurs d'Oultre Mer* *Заморские сеньоры (франц.)*, собирали и хранили текст и душу иерусалимских ассиз, свято берегли традиции Haute Cour *Верховного, суда (франц.)*, являя миру удивительный образец аристократической идиллии, который, точно музейную редкость, пощадила история.

Долго держались в разных углах Европы и другие переживания крестоносного движения. Существовали вызванные им к жизни рыцарские ордена, существовали в Риме канцелярии, ведавшие делами Святой земли. Жили еще честолюбивые притязания церковных политиков и грезы церковных мечтателей. Какова была судьба всех этих остатков, побегов погибшего основного ствола? Они будут присасываться к новой почве или тоже погибать, одни естественною смертью, другие насильственно. Из таких присосавшихся к новой почве и на ней огрубевших эпигонов священной войны приходится особенно указать на северные ордена меченосцев и тевтонов. Прикрывшись плащом и крестом «божия воина», они пронесли к Балтийскому морю инстинкты и аппетиты, весьма уже непохожие на мотивы первых ее героев. Эти выжили и расцвели для новой жизни.

Что касается погибших насильственной смертью, особенно тяжелое впечатление оставляет публичная казнь тамплиеров. Предлогом для этой публичной казни выставят разные преступления и провинности

104

ордена, ересь и магию. Но в тоне ораторов, которые будут витийствовать в подставных судах, чувствуется, что они сами не верят тому, что говорят. Орден тамплиеров, самый, может быть, воинственный и энергичный из орденов Палестины, был упразднен, потому что он не был нужен. Вместе с тем своею силою и богатством он вызывал разнообразные вождедения, между прочим и со стороны французского короля Филиппа IV. По его воле издана в 1312 году папой Климентом V булла, полагавшая конец существованию ордена и сожжены на кострах главные деятели его с магистром Жаком Моле во главе.

Есть и медленно умирающие. Это в особенности приходится сказать об ордене иоаннитов (госпитальеров). Менее неприятный для сильных мира, проявивший себя больше благотворительной деятельностью, нежели властными притязаниями, он вызывал к себе более терпимое отношение. Но и его бросали из страны в страну, из Палестины в Кипр, из Кипра на Мальту, его территория все больше суживалась, пока он не умер от старческого бессилия и его корона, поднесенная императору далекой державы Павлу I, не очутилась в московской Оружейной палате [...].

Так идет по спадающей, кривой история романского Запада в крестоносном движении. Сперва оно увлекает всех: сервов и горожан, трезвых и восторженных, добрых людей и преступников. Дальше в его фарватере остаются преимущественно расчетливые армии воинов и купцов. На вершине одного из последних его всплесков — святой король Франции и, в заключение, ворох бумажных проектов. Однако отдельные волны движения, по-видимому, разбиты большими интервалами и то общество, которое через каждые сорок лет, а потом чаще выкидывало на берега Сирии и Африки большие волны, в промежутках жило не одними интересами священной войны, и самые эти интересы и порывы часто рождались из других, в них возвращались и с ними сливались. В этом смысле, собственно, кажется, нет истории Крестовых походов, а есть история Западной, а также и Восточной Европы со всею полнотою

ее огромного жизненного содержания, которое ее наполняет, иногда переливаясь в эту сторону — на «священный путь». Разъяснить глубоко и до конца явление крестоносного движения, казалось бы, значит дать полную историю средневековой жизни [...].

От похода до похода в некоторых слоях общества совершается интенсивный труд переработки итогов совершившегося движения и подготовки нового. Эта работа — одна из самых видимых и слышимых в жизни средневековой Европы. Она отразилась на торговых книгах городов, на законодательных сборниках сеньорий, на хрониках и мемуарах, на сказаниях и песнях. Не нужно особенной анализирующей силы, чтобы выделить в средневековой жизни и утверждать связный, замкнутый в себе, хотя и сплетающийся с другими процесс крестоносного движения. Его рассматривают как производную от

105

экономического и социального развития Средиземноморья, от политической его эволюции. Он есть все это, но и нечто иное и большее, имеющее свою резонирующую среду, своих носителей, свои формы и краски. Во всяком случае он создал свою особенную литературу, резко выделяющуюся в мире средневекового летописания. *Iter transmarinus* — «Путь за море», *Via Sacra* — «Священная дорога», *Gesta Dei* — «Божий подвиг» — такие титулы обычно давали крестоносным хроникам их авторы. Мир в движении к высшей цели, радостная жертва, в которой сиянием высшего идеала озарена самая смерть, — такова была их концепция совершавшегося. Этот момент идеалистического напряжения, какой они улавливали в происшедшем через все неприглядные стороны, которые они сами так честно подметили и изобразили, — этот момент давал в их представлении единство совершавшемуся. Он помогал выделять его в одну сплошную хронику, которая теперь лежит перед нами в многочисленных томах «*Gesta Dei per Francos*» *«Деяния Бога, совершенные франками» (лат.)*, из которой брызжет яркая радуга красок и переживаний и чувствуется трепет стремящейся ввысь человеческой души.

Потому что в глубоких его основах, как и в его вершинах, обнаруживается идеальный смысл движения: единение, ради великого подвига, всего христианского братства, в котором рассыпанные члены соединялись в одно тело и стареющему миру явилась надежда обновления.

В симфонии исторической жизни, — а этой симфонией, хотя бы и отзвучавшей, питается душа народов, — крестоносное движение прошло, как высокий призывный голос, и по его тону еще века спустя не раз настраивалась музыка восприятия и действия европейского Запада, более всего Запада французского. Подобно инструменту, наигранному искусством благородного мастера, коллективное сознание его народов не раз давало звук согласный, мужественный и прекрасный, под прикосновением новых ураганов истории. И теперь, когда слышишь вновь патетическую симфонию романского мира, думаешь, что перед ним не напрасно прошел некогда в мареве пустыни его таинственный вождь, Рыцарь Бедный, молчаливый и простой...

С ним, чистым своим воплощением, душа западного человечества обняла виденье, непостижимое уму

«И глубоко впечатление
В сердце врезалось ему»...

106

ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Б.С. Каганович. О. А. ДОБИАШ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ И ЕЕ КНИГА О РИЧАРДЕ ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ

Автор этой книги Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская (1874—1939) была одним из самых талантливых русских историков западного средневековья. Она принадлежала к блестящей плеяде ученых, сформировавшихся на рубеже XIX — XX вв., в пору

исключительного подъема гуманитарной и художественной культуры в России, продолжавших затем работать, почти всегда в нелегких условиях, в советской науке и составивших в конечном итоге ее славу и гордость. До войны О.А.Добиаш-Рождественская являлась неотъемлемой частью этой почти уже легендарной формации и пользовалась исключительным уважением. В Ленинграде она представляла медиэвистику, так же как И.Ю.Крачковский — арабистику, В.М.Алексеев — китаеведение, С.Ф.Ольденбург и Ф.И.Щербатской — индологию, С.А.Жебелев — эллинистику, В.Ф.Шишмарев — романскую филологию.

Свое прекрасное медиэвистическое образование О.А.Добиаш-Рождественская получила на Бестужевских курсах в Петербурге (здесь ее учителем был профессор И.М.Гревс, которому она посвятила настоящую книгу) и в Сорбонне и Школе хартий; в ее научном творчестве своеобразно сочетались традиции русской и французской научных школ. О.А.Добиаш-Рождественская была первая женщина-магистр и доктор всеобщей истории в России, одна из самых блестящих профессоров Бестужевских курсов и Ленинградского университета, член-корреспондент Академии наук СССР. Последние 17 лет своей жизни она, кроме того, работала в Отделе рукописей Гос. Публичной библиотеки в Ленинграде и ввела в научный обиход ценнейшие западные рукописи. Труды ее печатались в разных странах и пользовались международным признанием. Перу О.А.Добиаш-Рождественской принадлежат такие книги, как «Церковное общество Франции в XIII в.» (1914), «Кульм св. Михаила в латинском средневековье» (1918), «Западная Европа в средние века» (1920), «История письма в средние века. Руководство к изучению латинской палеографии» (1923, 2-е изд.—1936), «Стихотворения голиардов» (1931, на франц. яз.), «История Корбийской мастерской письма»

107

(1934, на франц. яз.) и многие другие. Посмертно вышла книга «Культура западноевропейского средневековья» (1987), объединившая ряд ее неопубликованных статей, переписку и мемуарные свидетельства.

Эпоха крестовых походов привлекала О.А.Добиаш-Рождественскую как одна из наиболее ярких и драматических в истории средневекового Запада. Курс лекций о крестовых походах она читала в Петербурге еще в 1913—1914 гг., а в первые послереволюционные годы, которые можно назвать золотым веком научно-популярной литературы в гуманитарных науках *1. Это было время ломки старого университета и житейского лихолетья, и при отсутствии жесткого идеологического контроля в далеких от актуальности областях многие лучшие ученые, привлеченные перспективами популяризации своей науки и возможностью заработка, приняли живейшее участие в изданиях «Всемирной литературы», журналах «Восток», «Анналы» и т. д.* , она написала для широкой публики три книги, посвященные истории и предистории крестовых походов: «Эпоха Крестовых походов. Запад в крестоносном движении» (Пг., 1918), «Западные паломничества в средние века» (Л., 1924) и «Крестом и мечом. Приключения Ричарда I Львиное Сердце» (Л., 1925). Самой блестящей из них по «интриге», композиции и стилю является последняя.

Книга говорит сама за себя, и нет необходимости как-то «представлять» ее. Скажем только, что основана она на самостоятельном и углубленном изучении первоисточников — хроник, грамот, посланий, легенд — и отсутствие ссылок, объясняемое «законами жанра», не должно вводить в заблуждение. Разумеется, О.А.Добиаш-Рождественская прекрасно знала и всю тогдашнюю научную литературу. Есть у нее и специальные статьи, связанные с этой тематикой. Книга ее ничуть не устарела ни по материалу, ни по выводам. Более того, в некоторых отношениях она может показаться новой и неожиданной для нашего читателя. Крестовые походы обычно изображаются у нас как разбойные нашествия на Восток с целью экспансии и грабежа. Кстати, эта точка зрения характерна и для большинства старых русских историков: сказалась, вероятно, православная традиция, которая не могла простить крестоносцам взятия и разорения Константинополя в 1204 г., приблизившего конец Византии.

Нисколько не отрицая в крестовых походах элементов жестокого насильнического феодализма, часто с чертами полузоологического быта, О.А.Добиаш-Рождественская пытается проникнуть в психологию крестоносцев, оценить все мотивы и движущие силы, отделить историю от легенды (как «золотой легенды», так и «черной») и рассмотреть их деяния и

бесчинства с учетом их культурных последствий для истории Европы. В этом смысле ее точка зрения более «западная», чем обычно принято у нас, хотя апология католического фанатизма ей

108

предельно чужда. О.А.Добиаш-Рожественская не идеализирует ни Ричарда Львиное Сердце, ни Саладина, но дает их блестящие психологические характеристики. Она была очень чувствительна к «эстетике истории», к стилю эпохи. Язык работ О.А.Добиаш-Рожественской, изумительный по яркости и богатству красок, воссоздает зримую картину исторического прошлого. Она была одним из самых изысканных и совершенных историков-художников в русской культуре. Когда-то Андрей Белый написал об историке русской литературы и общественной мысли М.О.Гершензоне: «Стоило перевести данные очерков в зрительные восприятия — вставляли полотна, которые были бы лучшими украшениями выставок „Мира искусства“» *2. *Белый А. Между двух революций. Л., 1934, с. 284.** . Это же можно сказать и об О.А.Добиаш-Рожественской. Следует только помнить, что за ее блестящим изложением всегда стоят строгость выводов, точный учет причин и следствий, безукоризненная научная проработка материала, наконец, большой ум и вполне реалистическое понимание жизни.

Книга печатается по изданию 1925 г. с исправлением опечаток. В ряде случаев уточнено написание собственных имен и географических названий. В качестве приложения помещены фрагменты упомянутой выше книги О. А. Добиаш-Рожественской «Эпоха Крестовых походов» (с. 97—100, 108—116), характеризующие финал крестоносной эпопеи.

Б. С. Каганович